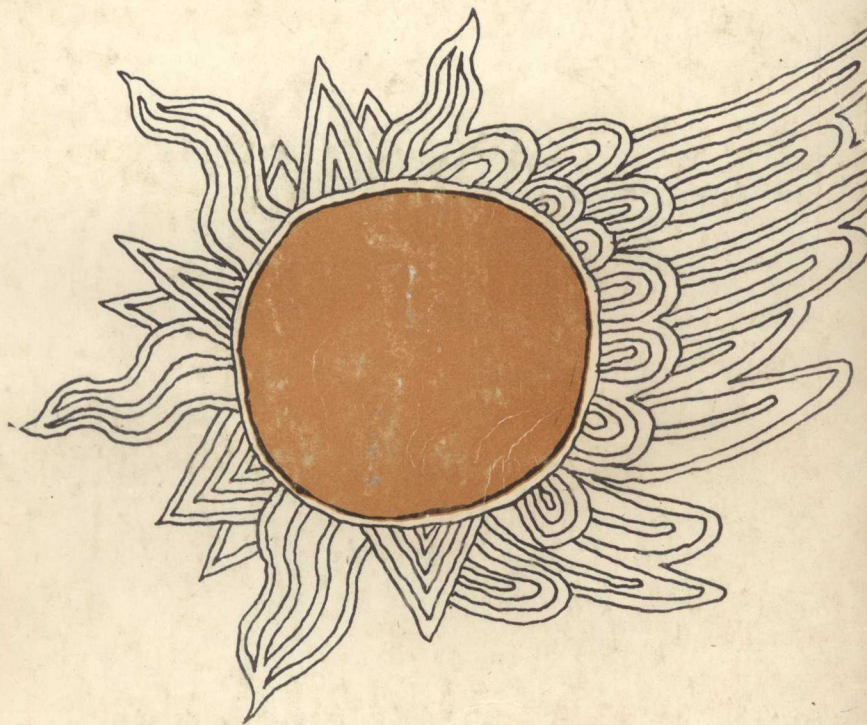


**ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ**

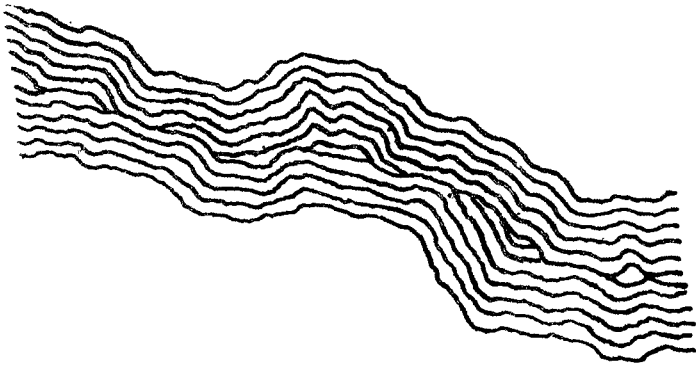
---

***ВРЕМЯ ТВОЕ***







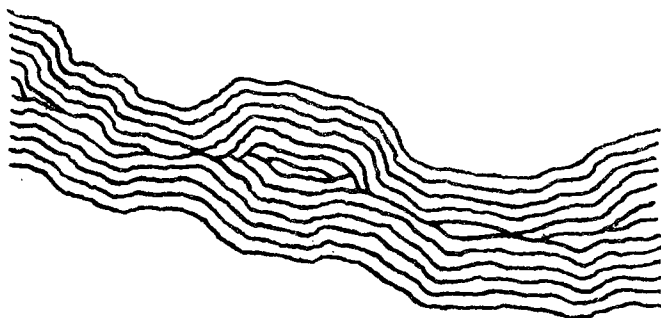


**ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ**

**ВРЕМЯ ТВОЕ**

**ПЕРЕВОДЫ ИЗ ГРУЗИНСКОЙ  
ПОЭЗИИ**

**СТИХИ О ГРУЗИИ**



**ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕРНИ» ТБИЛИСИ. 1986**

84Гр7  
899.962.1-1  
Л476

**Владимир Леонович — автор нескольких стихотворных сборников. Он много лет плодотворно работает в жанре перевода.**

**Книга «Время твое» познакомит читателя с его переводами грузинских поэтов разных поколений — поэтов интересных и своеобразных.**

**В книгу включены также стихи Владимира Леоновича о Грузии.**

70402-403—136  
Л М604(08)—86 171—85

# ПЕРЕВОДЫ ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

---

ШОТА НИШНИАНИДЗЕ



Еще дитя, я был замечен  
и кем-то бережно ведом.  
И озарен мой ранний вечер,  
и жизнь я перешел — с огнем.

Так медленно оборотились  
и стройно тени разошлись.  
Мои желанья воплотились,  
и помыслы мои сбылись.

Тебя — благодарю за это.  
Мой шаг был зрячий и прямой.  
А что была причина света?  
Кто верный был водитель мой?

Вопросом суетным и праздным  
не задавался я, о нет.  
За временем и за пространством  
и без меня продлится свет.

## МЫ, КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕЧНОСТИ

Дионис пышнокудрый, обильный дарами,  
бог румяный на стенке марани  
рог подъемлет и баранью лопатку  
и на брюхо  
напускает блаженную складку.  
Это он распекает О д о и а,  
орет в Цхенис-цхали —  
будто корни скалою,  
полногласьем воспитаны связки.  
А когда у камина заводит он сказки,  
дом ковчегоподобный покидает устои.  
Кутаиси — величает К у т а и а...  
Слушай:  
чаша звучит золотая.

Он — улыбка младенца — осанка джигита.  
Это им, загулявшим, разбиты  
узкогорлые доки<sup>1</sup>,  
а серебряной ночью русалка с ним играет в потоке  
и по нем изнывают зеленые ведьмы Колхиды.  
Слушай:  
нянька зовет: — Баахулиаа! Баааху! —  
и, горячий спросонок на вещее слово,  
Бахус трехгодовалый, облаченный в рубаху,  
является в половине восьмого.

Оживает округа!  
Жизнь полна и упруга,  
солнце брызжет и, не выдержав дня, в половине,  
наземь рушится так, что долина подобна давлению!  
От похмелья рассветного  
до веселья вечернего  
прибывает вино под ковшом виночерпия,  
и народ Имерети крепок в вере,  
изобильно разлитой в крепкогорлые кевври.  
Ты бывал в Имерети? А видел пиры там?  
Надо видеть: такое тебе не приснится.  
Ты узнаешь, как долина кренится  
и плывет опрокинутым широкодонным корытом.

<sup>1</sup> Доки — кувшин.



Тут умрешь. Но проспишься:  
не дадим умереть в Имерети.

А долина лежит на рассвете  
книгой трезвой и мудрой.  
На известке марани — могучий старик среброкудрый.  
Виноградники, храмы, балконы —  
Библия в оригинале,  
лад певучий исконный —  
этим кончим — и с этого начинали  
гости родины,  
вечности жители коренные —  
мы, иберы, мы, живущие ныне!



Чуть слышен один листопад.  
Курьерский промчался и сгинул,  
и головни иней окинул,  
и мерзнет, пылая, закат.

Ослепшая, прямо на луч  
летающая — да сохранится  
гусей запоздалых станица,  
и пепел не падает с круч.

Листок соскользнет с высоты,  
тихонько ударится оземь...  
Согрей наступившую осень  
в ладонях — ладони пусты.

### ЮБИЛЯР

Соперничали в красноречье.  
Поеживался юбиляр,  
когда отрывистой картечью  
партер из темноты стрелял.

Потом его венчали лавром.  
А вечер все не шел к концу...

Нагрелся зал. Курился ладан,  
и улыбался жрец жрецу,

Он вслушивался в шум словесный,  
понять стараясь, что к чему,  
и лавра холодок железный  
все время чудился ему.

То было верное предвестье,  
он кожей чувствовал,— хотя  
союза истины и лести  
не разумел. Он был дитя.

И правде самой невозможной  
молился в тишине: прости,  
я самый среди всех ничтожный,  
я прах и камень придорожный  
в начале твоего пути.



*Галактиону Табидзе*

Бесмысленные перестарки!  
Текло — да мимо — по усам...  
Душа его, как лебедь яркий,  
принадлежала небесам.

Догадки, сплетни — мимо, мимо!  
Никто не знает, отчего  
последний грех неискупимый  
остался подвигом его.

#### **КРАСНЫЕ ГВОЗДИКИ**

Прекрасный Тициан любил гвоздику.  
Держа в руках, как знаки лучшей власти,  
и пиршественный рог, и золотую книгу,  
он родину благословлял на счастье.

И умолкал — и слушал: отзовется...  
Тогда листва без ветра лепетала  
и красная гвоздика — искра солнца —  
на грудь избраннику слетала.

И помнят: против сердца неизменно  
алел цветок любимый Тициана.  
И постепенно, постепенно  
ему навстречу расцветала рана.

И было это красное соцветье  
подобно рифме парной, рифме тесной,  
которая звучит на этом свете,  
прислушиваясь к высоте небесной.

Не говорю: судеб предназначенье.  
Гвоздиками цвела — какая свалка?  
Не выберу — ни мести, ни прощенья.  
Мне — совестно. Мне — Тициана — жалко.



Гибли вы — на войне, на дуэли,  
честь любя.  
Скольких я пережил! Неужели  
пережил и себя?

Умереть в 37, в 28  
загнать коня!  
Вот моя совершается осень,  
осыпает меня.

Горы сплошь побурели,  
как руда...  
Не хочу, чтоб афиши пестрели,  
суетились года.

Верю в старость.  
Не хочу ничего.  
Пусть господня обрушится ярость  
на меня одного.

Ибо знаю сурово  
и вижу из мглы,  
что забили другого  
в мои кандалы.

Что другой неповинно  
принял пулю — моя была! —  
и травую поlynной  
земля поросла.

Сколько — много ли, мало  
проживу — простою?  
Смерть чужую душа принимала —  
как свою.

### САЧИДАО<sup>1</sup>

Снилось мне: я из Хаоса выбредаю,  
молнией опоясан. Земля молодая.  
Смутно в мире. Не знаю ни ада, ни рая.  
Наклонился: тропу от земли отдираю —  
и под плетью вскипает молодая вода,  
и взлетают и рушатся города!

Думой неба окутан, вскормлен облачными сосцами,  
я затерян меж правнуками и праотцами —  
первый в мире грядущем и в прошлом — последний.  
У меня же в горсти — как бы четки столетий.  
Жизнь мою — кто со смертью моею смесил?  
Дивны, дивны дела твои, господи сил.

Был я дух. Я не ведал ни страха, ни счастья.  
Плоть меня облегла, свет божественный застыл,  
будто молнии или петля тугая,  
или морок, в который глядят не мигая.  
Ослабевает с годами завеса тумана,  
Уходящая жизнь так мила и желанна!

---

<sup>1</sup> Сачидао — музыка, которой сопровождается грузинская национальная борьба.

Разбежится по гладкому морю волна —  
в трех живых поколениях заключена.

Сачидао гремит — длится схватка с судьбою.  
Время ломит меня — вялой силой слепою.  
Золотеющий колос умрет на корню.  
На пустую страницу голову уроню.

С маху — наземь — лопатками и локтями!  
Я Тобою повержен — никакими чертями!  
Поле битвы волнуется жирной пшеницей —  
жизнь и смерть обнялись над моею страницей,  
и моя эпитафия, где я зарыт, —  
теснота тех объятий, молчанье навзрыд.

Для чего же безвыходной круговертью,  
ежечасно во мне нарастающей смертью  
ты страшишь меня, Равный?

Сердце слышать не хочет,—

словно буря морская, сачидао грохочет,  
и волна поколений раскатилась во мгле.  
Смутны хляби, и молодо все на земле...



Зеленый холм перед горой  
с ее лесами вековыми —  
как бы у матки матерой  
теленок, теребящий вымя.

Раскиданные на холме,  
от солнца палевы надгробья.  
Теснит, как в детстве, сердце мне  
тоска скрипучая аробья.

А время, исполинский гриф,  
ощипывает седловину,  
горы вершину оголив.  
Ложится тень на всю долину.

Но я теряю образ твой.  
День ото дня тобой отторгнут,  
и черный камень — синевой  
тысячелетнею подернут.

Небесный радужный налет  
еще неуследимо тонок...  
Разлуки нет, я здесь, я тот  
изголодавшийся теленок!

Всю жизнь бредут издалека  
сюда деревья через поле.  
Кувшин парного молока,  
орехи свежие в подоле.

В вечерний час про дни свои  
со мной беседует тутовник,  
и шелестят уста мои,  
перебирая вечный словник.

И все душе моей невесть  
откуда ведомо и мило,  
как будто я родился здесь  
и эта весь меня вскормила.

Здесь прадедов моих покой,  
сюда мои вернутся внуки, —  
и накрепко с моей землей  
я связан узами разлуки.



Всезрящий бог без глаз остался,  
архангел потерял крыло.  
На совесть кто-то постарался,  
оставил роспись и число.

Боролся с богом — скреб и мучил,  
А темный дождевой натек —  
хвосторогатый! — фреску вспучил  
и наутек...

Отсюда никуда не деться,  
и в годы ясные мои  
я принимаю как младенца  
останки бедные твои.

Я принимаю упованья  
и помыслы рабов твоих,  
под этим сводом — их дыханья,  
на этих плитах — слезы их.

Твои же очи кто-то выскреб.  
Паду — увидеть жалкий прах...  
Но паперть черная — вся в искрах,  
как полночь в ледяных горах!

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОЙ БОГЕМЫ СТАРОГО ТБИЛИСИ»

Как их назвать?

Это стихи домашние, принадлежащие Городу. Меняется облик его, обычаи, речь — что-то остается «до востребования» нам и потомкам. Остались вот стихи тифлисских ашугов, звучащие на том еще Майдане, в тех улочках, где не слышно машин — слышны подковы, копыта...

Стихи у л и ц ы. Газетная бумага, пяток стихотвореньиц — готова книга, свежая, как лаваш. Эти книжки ходили как звонкая монета — по горячему следу чувства. Они выражали главное. Скажем, любовь поэта Гвишвили к поэту Скандаряну — простите, Скандар-Нова! — а потом разочарование одного в другом, а потом неприязнь, сопровождаемую живописной бранью, а потом просветление и мир... Правда чувства и человечность, прямота речи, нечаянные приметы неповторимой той жизни искупают некоторое литературное несовершенство этой поэзии. Не по-хорошему мил, а по-милому хорош.

...На берегу Куры стояла мечеть, в ней жила икона богоматери и не мешала тифлисскому аллаху. Постоим тут: отсюда виден Горгасал на фоне Метехской крепости-церквистурьмы-мастерской-театра, виден Авлабар, подпираемый плачущей скалой. Что за горе разверзе камень и изведе воды?

Поднимемся в тесный старый Город. Видно, как он составлялся из малых двориков, выраставших по склону — как вела тропа. Двор. Клеточка жизни продиктовала разумную неразбериху квартала. Здесь не было геометрической воли. Здесь живая неправильность, которую художник берет даром и так трудно воссоздает архитектор. Двор — замкнутая горная деревенька в два-три балконных яруса, которая вся сама собой любитесь... Внизу — Источник и Дерево, по балкону — лоза, а по небу — белье. На камнях легким облачком — начесанная шерсть. Блажен, кто родился здесь...

Стандартные дома новых кварталов — это еще развернутая деревня: та же попытка лозы, те же простынные па-



руса по фасаду. Но идет борьба — и неравная — естественно неправильных форм человеческого существования и целевой геометрии, потребной небывалому людскому множеству. В развернутом доме уже не все друг друга знают. Есть чужие друг другу люди: живут в одном подъезде и годами не кланяются. Тропинка лестницы в запустенье — в почете вертикаль лифта...

**Друзья, ходите пешком!**

**Подарите свою машину своему врагу...**

Трамвай еще ходит по Городу — медленно, по стертým рельсам — и останавливается, если поднять руку. И автобус остановится, даже если спешит в аэропорт. И я спешу это написать, пока это так. И самолет не улетит, если опаздывает человек... И будет ждать, и пассажиры начнут возмущаться. Чкара, чкара!.. Семеро одного не ждут, на том свет стоит. А самолет ждет — одного. Одну ждет — Женщину. И о ней еще говорят: Ее милость. Воздушный лайнер, видите ли, ждет Ее милость — как маленький ручной самолетик из какого-то ее капризного сновиденья:

**Мне маленькие самолеты**

**все снятся — не понять, к чему...**

Город ревнив. Город заносчив. Есть тбилисцы, не покидавшие Города в мудрой уверенности, что лучшего ничего на свете нет. Милый Город!..

...Схлынули толпы туристов, и коренной тбилисец стал виднее на старых улицах под старыми деревьями. Полюбуюсь им. Он идет по проспекту — оцените эту поступь! Он шествует — куда? Туда. И обратно. Как несет он себя... Нет, я далек от иронии и близок к зависти. Помните, Пушкин советовал вам: любите — самого себя. Глубокая мораль — и с улыбкой...

**Цена свою жизнь не дороже копейки,**

**зато и чужую не ставя ни в грош —**

прочитал я недавно. Нет, тбилисец знает себе цену! У меня больно сжимается сердце, когда такой человек — такой человек! — попадает в месиво московской спешки, где его мнут, крутят, понесли —

**и бегом-бегом**

**мы в метро протиснемся,**

**вдавимся в вагон!**

Ашуги старого Тбилиси — замечательные жители земли, народ веселого нрава и хлесткого слова. Вместе с тем это люди строгих понятий о достоинстве человека. Это — тби-

лисцы. На вопрос о родине и вере такой человек может сказать одно: я тбилисец. Этого довольно. Иосиф Гришашвили, тбилисский дядя Гиляй, собрал эти стихи в «Богеме», где история Города и легенда неразделимы. Там каждое предание — баллада. Книга написана в гостеприимном открытом жанре: добавляй, читатель, вспоминай, как мы жили-были, помоги дописать «Богему»... Не я автор — ты, мы все...

Но мы так беспечны!  
И воздай честь предвоссияющей Солнцу, Звезде...

●

На угольях, на золе  
Выступает седина.  
Мясо плавает в котле.  
— Добрый вечер, старина!  
— Добрый вечер.  
Суп приправлю,  
Вытру стол, огня прибавлю.  
От угла и до угла  
Той же улицы клочок,  
То же бульканье котла  
И жаровни маячок —  
Каждый вечер,  
Каждый вечер.  
Чем ушедший день отмечен?  
Тем же чадом и жарой,  
Тем же людом без гроша,  
Тем же пеплом и золой...  
Той же слабостью греша,  
Я придумал восемь строчек...  
В этом дне, как в сотне прочих,  
Та же правда и душа.  
— Доброй ночи!  
— Доброй ночи!

●

Прощай, Арчил, ты беднякам  
Всего Тбилиси другом был.  
Господь прибрал тебя к рукам,  
И твой очаг остыл.  
Последнее ты отдавал.  
Тебе простятся все грехи  
За доброту,  
За твой подвал,  
В котором нищий пировал,  
За наши песни и стихи.  
К тебе ходили мы толпой,  
Как ходят в божий храм, —  
И бог  
Простит меня — ведь он и сам  
К тебе зашел бы, если б мог.  
Когда ты мирно опочил  
И весь Тбилиси сторчил,  
Тебя, конечно, унесло,  
К его престолу к облакам —  
Ты Расскажи ему, Арчил,  
Про микитана ремесло...  
Прощай, родной, ты беднякам  
Всего Тбилиси другом был!

●

Чего Тбилиси не видал?  
Тбилиси видел все.  
Но чтоб на голову надеть  
Такое колесо!

Не заграничный ли кинто?  
Да нет их за границей.  
Жилет длиннее, чем пальто —  
Вельветовый лоснится.  
Носок обрублен у штиблет.  
А может, сумасшедший? Нет...

Спросил одних, спросил других,  
Сказали: декадент... Привет!

У жителя Олимпа  
Я не заметил нимба.

Вчера встречаю поутру  
Красотку на мосту,  
Похожую на кенгуру  
Походкой за версту.

На ней малиновый берет  
И рыжая лиса,  
У ней затянута в корсет  
Семипудовая краса.

Назад — ей-господи, не вру —  
Коленки! Точно! Кенгуру!  
И пояс на боках тугих —  
Салатовая лента.  
Спросил одних, спросил других —  
Сказали: декадентка.

Тогда спросил я сам себя:  
А что бы сделал дед,  
Когда б ему попался  
Грузинский декадент?

Старик он был суровый —  
Дубину взял бы он,  
Словесности изящной  
Нанес бы он большой урон.

●

Мой муж — хороший глупый муж,  
Урод, а я красавица.  
И то, что мне положено,  
Ему не полагается.  
Я обниму его — он рад,  
Побью его — так рад вдвойне.  
Вот дурень, господи прости,  
Еще достался мне!  
За полночь прикрожу домой —  
И благоверный олух мой

Мне открывает двери...  
У, сонная тетеря!  
Глупеет он день ото дня —  
Такой уж мне достался...  
Хоть раз меня — вот размазня —  
Побить бы догадался!



Где теперь блаженный Эшна,  
Дядя Эшна брадобрей?  
Жил он просто и безгрешно —  
Я не знал души добрей.

И голодный, и веселый,  
Презирал старик нитье —  
Полупьяный, полуголый  
Он хвалил свое житье.

Протянув неделю скудно,  
К воскресенью воскресал.  
В понедельник думал смутно,  
Голову чесал.

Он в унынье повергался  
От сердечной доброты,  
Он как праведник ругался  
От житейской нищеты:

Унижение и мука —  
Сердцу трудно уместить —  
Угостить захочешь друга —  
А не можешь угостить!

Справедливо  
Понемногу,  
Как угодно было богу,  
Он не то чтоб воровал —  
Брал — свое — как отдавал!  
Недовольных и обритых  
Гнал метлою за порог...

От воришек именитых,  
Эшна, Эшна, видит бог,  
Гнусной бедностью гоним,  
Ты отличен перед ним.

Ловкачи миллионеры,  
Жулики большой руки —  
Малодушны и мелки.  
Знать не знают нашей веры!  
Ты же, Эшна, там и здесь  
Знаешь правду,  
Знаешь честь.



Перекупщики с товаром,  
Слава вашему старью!  
Что хочу, беру я даром —  
Даром отдаю.  
То ругаясь, то зевая,  
Ходит занятый народ —  
Никого не зазываю.  
А ко мне душа живая  
Забредет? Не забредет?  
Запишу тебя я в святцы.  
Генацвале, ты мне брат —  
Потому Иэтим богат:  
Знает он, куда податься.  
Стоит пальцем в книгу ткнуть —  
И пошел — куда-нибудь!



Я веселье рассыпаю,  
Пожинаю грусть.  
Говорят, любовь — слепая.  
Ну, слепая!  
Ну и пусть!  
Я слепец — твой собеседник,

Потому что я певец,  
Стран чужих и стран соседних  
Я не знаю — я певец!  
У народов я посредник,  
Потому что я певец,  
У любви я исповедник,  
Всех певцов прямой наследник,  
Наконец!



Нет, ты только посмотри —  
Ничего не говори —  
Свет остался — свет зари  
Отуманил эти кисти!  
Чудо, чудо, Иэтим —  
Розовая поволока...  
Листья — голубые листья!  
Может, я умру до срока...  
Ясный день невозвратим.  
Я трудился бога ради —  
Сохрани ж мои тетради,  
Сохрани меня, Тбилиси, —  
Весь на мне твой сизый дым,  
Как заря на винограде,  
На морщинах сладкой кисти...  
Сохрани меня, Тбилиси, —  
Старым, сильным, молодым!



Если предка колыбель  
Ты сожжешь — ты мне не сын.  
Обогни отца могилу,  
Перепахивая клин.  
Если обесчестил род —  
Пусть твой сад искоренится,  
И охрипнет соловей,  
И вороной обратится!

Будущего не увидит,  
Кто прошедшее сотрет.  
Если бога позабудет —  
Лучше пусть Гурджи умрет!

●

Я твой чернец, мой бог, мой свет!  
Пропал Изтим, Изтима нет!  
Я за столом сижу и пью,  
Но я псалом тебе пою,  
Ты отравила жизнь мою!  
Аллилуйя!  
О свете мой, какая тьма!  
Не веришь — погляди сама!  
Изтим Изтиму злейший враг —  
Наполовину он дурак,  
Наполовину гений,  
Когда мелькает яркий мрак  
Солнечных затмений —  
И только ты одна светла —  
Пропал Изтим, сгорел дотла!  
Тебе вся слава и хвала —  
Аллилуйя!

●

Что с тобой, Изтим бедняга?  
От похмелья ты опух,  
Глаз не видит, ухо правое  
Повисло как лопух.  
Ты в который раз надумал  
Решетом Куру просеять,  
На большом ветру провеять  
Индюшачий пух!



●

Эдема светлого пчела,  
Ты собираешь мед любви.  
Пока твой день — живи, живи,  
Прозрачны крылышки твои!  
Тебя увижу и молчу,  
Я только одного хочу:  
Смиренной теплиться свечой  
Перед иконой — пред тобой,  
Но твой рубин и бирюза...  
Но эта бархатная мгла  
Уже на очи мне легла  
Крестом тrefового туза.  
Бог знает, что я бормочу,  
Какой-то вздор мелю...  
Ведь невозможно мне сказать,  
Что я тебя люблю!

●

Глаза твои — синее неба,  
А брови — ласточка мелькнула,  
А волосы — как дождь и солнце,  
А вся ты есть моя слеза.  
Будь верным ангелом хранима.  
Благословенье Изтима  
Прими — и стороною сердца  
Пройди, как синяя гроза.

●

Не печалься, Гурджи,  
Со слезами своими дружи,  
Пока слезы идут.  
Проклинают тебя  
Или благословляют тебя —  
Только слезы тебя, Изтим,  
Не обманут  
И не предадут.

●

Этот стих неисчерпаем,  
Потому что он — душа.  
Речь поэта драгоценна —  
Жизнь не стоит ни гроша.  
Что захочет, то услышит  
В утешенье человек.  
Потому Гурджи за песней  
Коротает скушный век.  
Слеплен я из плоти зыбкой,  
Грешен я и уязвим —  
Только здесь, как отблеск божий,  
Негасим, неуловим...

●

Друзья мои, ваш Иэтим,  
Сын грузинской матери,  
Просит записать его  
В грузинские писатели.

Он сочинял свои стихи  
По праву первородства,  
Ему наскучили долги  
И долгое сиротство.

Его старушка муза  
Чего-то заскучала  
Без вашего Союза,  
Без вашего причала.

●

Я дома — я живой! О город милый,  
Я как слепой — когда увидит свет.  
Ты весь передо мной, и всё — как было —  
И я лишь постарел на двадцать лет.  
О город мой, как сохнет кровь в неволе,

Как погибает сердце — день за днем —  
И нет ему ни радости, ни боли,  
И скорбь сама перегорает в нем!  
О город, ты подвинулся поближе,  
Поплыл — ты в зелени — и ты в снегу...  
Тбилиси, милый... ничего не вижу —  
Тбилиси, плакать я еще могу.  
Мне это — снилось: горы, бездна света,  
И ты — внизу. И колокол большой  
Меня будил средь ночи... Только это  
Не стоит памяти, не стоит, милый мой.  
Мне остается мало. Знаю, знаю...  
С тобой встречаюсь я? Прощаюсь я?  
Твой чад, и пыль, и дым, и речь родная —  
Дыхание твое, душа твоя —  
Пусть будет все — и будет все сначала!  
И, как своей любовью Изтим —  
Тебя хранят обломки Нарикалы,  
Хранит Мтацминда — именем святым!

Среди зимы и лета  
как лошадь и верблюд  
ты трудишься. За это  
тебя по морде бьют.

Кто громкий рев услышит,  
подумает: герой!  
Но ты стоишь под крышей  
голодный и худой.

Оплакивать напрасно  
твое житье-бытье.  
Душа твоя прекрасна,  
да кто видал ее?

Невидимые души  
истошные кричат,  
и видимые уши  
потешные торчат.

Пусть мир переменялся,  
но ты всегда осел.  
Чего же ты добился  
и что ты приобрел?

Среди зимы и лета  
как лошадь и верблюды  
ты трудишься. За это  
тебя по морде бьют.

●

Кум и сват, владыка, обер-  
прокурор — немало попил  
нашей крови — только помер,  
догадался наконец.

Он нам был весьма полезным  
в отношении железном —  
стал он духом бестелесным.  
Помер, помер, наш отец!

Кто кричит и воду мутит?  
Нет режима. Что же будет?  
Кто подскажет? Кто осудит?  
Кто посадит, наконец?

Горе, горе, человеки!  
Кум лежит — сомкнуты веки.  
Дух и прах и все доспехи —  
в землю, в землю! На келехи  
призывает вас певец!

●

Что с тобой — у тебя два лица —  
почему не четыре ноги?  
Не хочу ни вина твоего, ни тельца:  
я — Азир, мы с тобою враги:

никогда не пройду по мосту твоему,  
разольется пускай река.  
Я Азир — век не пил я в твоём доме  
и не буду — века...



Какие дни, какие числа!  
Мы дети времени сего —  
оно в нечистом квеври скисло  
и ломит скулы от него.

Блажен живой — кто вживе умер,  
кто стал умен — и полоумен,  
кто ловок как веретено,  
кто хвалит уксус — не вино,

кто гибкую имеет спину...  
О время, вот мои стихи —  
и я — твой сын. И мне, как сыну, —  
расплачиваться за грехи...



Остерегайся пышности распутной  
и резвости пера,  
и правды легкой и минутной  
не жалуй, Азира.  
Ты мастер: никого  
не слушай, кроме бога,  
и слово в ясности его  
воздвигни строго.



Скончался знатный ростовщик  
И, денег не жалея,  
Надгробье над собой воздвиг —  
Подобье мавзолея.

Увидев горделивый бюст,  
Представить невозможно,  
Что в жизни грешный этот хлюст  
Выглядел ничтожно.  
Теперь он лаврами увит  
И так глядит, что снова  
Содрать три шкуры норовит  
С народа неживого.



Пусть сойдутся все ашуги,  
пусть берет, кто может, в руки  
чианури и дудуки,  
и как буря, грянут звуки  
тари, бубна и зурны —

пусть играют неустанно  
громче ветра-урагана —  
против славы Гурджистана,  
против славы Баджи-Анны  
эти громы не сильны!

Анны доблести известны,  
Анны прелести небесны,  
ей одежды слишком тесны —  
перед нею легковесны  
все красавицы страны.

Анабаджи, дева силы,  
ты красотой меня сразила,  
дар царя и честь грузина,  
меч мне в сердце погрузила  
как в жемчужные ножны.

Наяву ты стала сниться.  
За любовь твою, орлица,  
как Саят-Нова сразиться  
я готов — я тоже рыцарь  
чианури и зурны!

●

Соль не скиснет,  
Рак не свистнет  
И терновник не родит  
Виноградной кисти.  
Не блестит алмаз толченый,  
Корень дерева крученный  
Молотком не распрямишь,  
Дурака не вразумишь.  
Не отмоешь добела  
Черного кобеля.

●

Может быть, тебя в столицу  
на худой арбе везли?  
Всю красу твою и прелесть  
по дороге растрясли.  
Твой отец, крестьянин добрый,  
наполняет бурдюки.  
Если б он тебя увидел,  
право, умер бы с тоски.  
У тебя ресницы долги,  
зато юбки коротки,  
за тобою городские  
так и вьются кобельки.  
Эти люди, эти моды  
тебе вовсе не к лицу.  
Подобру да поздорову  
возвращалась бы к отцу!

●

Кому время, кому век,  
Кому времечко,  
У растяп, эх растяп,  
На текучем чердаке,  
Где чудака на чудаке,

Слышно: кап-кап-кап —  
Прямо в темечко!

У чужой трубы погрейся,  
На спасителя надейся.  
Кому мед, кому икра,  
Мне, Антону, — ра-ра-ра...  
Мне, Антону, два ведра  
Слезынок господних.

●

Ты обделал все толково:  
слово дал — нарушил слово,  
бросил умирать больного,  
отнял дом... Но зло не вечно!  
Как пастух, нас гонит время  
и равняет всех со всеми.  
И недолог, злое семя,  
век и мой, и твой, конечно.  
Бечара, их много — сытых,  
толстопузых, именитых —  
смерть придет — не пощадит их —  
как бедняг, их жаль сердечно!

●

Обитель дедов и отцов,  
сырое лоно земляное  
равняет знатных мертвецов  
и бедных — кровлею одною.

Как дружно все сюда пришли,  
какая тишина в соборе!  
Отныне в тесноте земли  
столпились вы, о ней не споря.

Вот предок важный. Рядом с ним  
потомок-нищий приютился,  
и старый мрамор, нехраним,  
разбит и набок покосился.



Здесь место всем — одно, и честь —  
одна, и всем — одно богатство.  
Народ спокоен, ибо здесь  
достиг он равенства и братства.



Господи, зачем, скажи  
я тобой разбужен, если  
лучшие смолкают песни  
в глубине души?

Об одном тебя молю:  
помоги оставить братьям  
эту — лучшую — мою —  
что имею завещать им!

Все меня благодарят  
за огонь, за хлеб насущный...  
Пусть и песней в день грядущий  
помянут — не укорят.

**ДВЕ СИЛЫ**

Работают корни спеша,  
росток выгоняя... Однако  
есть света небесного тяга —  
растения ум и душа.

Разумная стройная сила  
и мачтовый лес возвела  
и, словно бы нитку игла,  
сквозь щебень  
                                траву  
                                протащила.

●

Свет зыбкий,  
вложенный в светец,  
чуть озаряет свод и стены,  
живет и меркнет постепенно — }  
и вспыхивает наконец...

Так сердце  
вспыхивает вдруг —  
и достигает тьмы загробной  
землетрясению подобный  
все мигом озаривший круг!

**МОРЕ**

Открылось наподобие стены  
и с грохотом вломилось из пустыни  
в зеленые пределы тишины —  
разгулом яростной полдневной сини  
и седины!

Что, море?  
Иль тесна  
тебе — свободная пустыня эта?  
Или понадобилась тишина?  
Чего тебе от старого поэта?

### СЕЛЬСКАЯ НЕВЕСТА

Лишь красоте твоей в угоду —  
мне правда сердца дорога —  
я воспеваю вашу оду,  
и сад и пламя очага.

Пою семейные устои  
и почвы щебнистой дары —  
и это место обжитое  
на согнутом локте горы.

Я счастлив — и неделю кряду  
я полон юностью твоей.  
Уста твои подобны саду,  
где поселился соловей.

### ЛЕТУЧАЯ ЗВЕЗДА

*Вале Терешковой*

Что это было?  
Это было  
пространство дикое — и там  
давно чернело все и стыло  
без женщины.  
Так стынет храм  
без божества —  
но дрогнул Космос,  
лишь твой там вспыхнул светлячок!  
Так будит звонкий женский возглас  
всю улицу,  
а каблучок —

весь город, спящий пред рассветом...  
Возьми меня,  
лети с поэтом!  
Дай молодому старику —  
дай мне пропеть в безмолвье этом  
одну грузинскую строку!

#### МЕЛЬНИЦА

Вода распекает на сто голосов,  
и точит, и точит скалу своенравно  
и плещет на мельничное колесо,  
— Как славно! — я слышу.  
— Еще бы! — так славно!

Меня развлекает ее болтовня  
у старых дубов, у запруды замшелой,  
где жернов и кованая шестерня  
ворчат потихоньку и делают дело.

#### УПАЛ ДУБ

Грубый путь лесосеки  
здесь наметил топор.  
Старый лес опустил отягченные веки,  
и поваленный дуб  
на декабрьском снегу распростер  
каменные узловатые ветви.

Ропщут глухо деревья,  
что тесно к нему подошли.  
На широких стволах  
будто язвы — зарубки...  
И старинного друга поднять от земли  
не умеют их темные руки.

## ПОЭТ И ЭПОХА

Другого не ведая бога,  
я верил Единственной ей —  
меня воспитала эпоха  
и грудью вскормила своей.

Мне пела о самом высоком,  
о гибели в смертном бою...  
Тебя ли обижу упреком,  
железную мать мою?

Все было — а что это было? —  
на памяти страшной моей.  
Но ты горевать отучила  
своих уцелевших детей.

Я слышать такого не смею, —  
я слышу, как в шуме дождя  
несчастливая бредит Медея,  
забвенья себе не найдя.

Я стар, твой заступник, и ныне  
твоя постарела краса —  
но той же упорной гордыни  
мне блещут сухие глаза.

Прошедшее ты подытожишь,  
Бессмертье твое впереди.  
Поплачь обо мне, если можешь,  
себя — не меня — пощади...

## ГАМЛЕТ, ТЫ СЛЫШИШЬ

Братоубийцы?  
Совесть их не гложет:  
они невкусные. И сотни лет  
с Гертрудой Клавдий спит,  
и Гамлет спать не может,  
и вечный совершается сюжет.

— Мой Гамлет, отомсти убийце!  
И мыслит нежный принц,  
что кровь и месть  
родят возмездие... Но сохранится,  
но перейдет потомству —  
честь.

— Мой мальчик, отомсти! —  
Какая мука!  
Сойти с ума — и сходит, кто умен,  
и свежая кровавая порука —  
единственная связь времен.

И тут закалывает он — ошибкой —  
пройдоху бедного и шептуна:  
кровь, да не та —  
черт побери, жирна!..  
И справедливости трагедия  
улыбкой  
безумной девочки освещена...

#### ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Созвучий стройных мастер дивный,  
как неспособный ученик,  
тоскливо слушает надрывный,  
скрипучий и картавый крик.

Он видит, как воронья стая  
неподалеку в небесах  
пересыпается как прах,  
порой на камни оседая.

Густое серое пятно...  
Он думает: даешься диву,  
но вдесятеро душу живу  
острей им чувствовать дано,

чем тело мертвое. И злоба  
сильна их. Но сильнее — страх.  
Вот снова взвились — нежить, прах!  
Всего превыше страх — а то бы...



## ПЕСНЯ

Ты мне служила как клинок,  
как верный щит широкий,  
с тобой я не был одинок  
в дороге одинокой.

Я верю, ты еще остра,  
еще готова к бою —  
как милосердная сестра  
теперь побудь со мною.



Вот и стихи сочтены.  
Гулом венчаются строки —  
будто бы своды постройки  
выше нее сведены —

в небе и вне языка...  
Пылью покрыта белёсой —  
эта вот — каменотеса  
в ссадинах грубых рука.



**ЗАЯЦ НА ДОРОГЕ**

Две темноты, как две стены,  
обстали зверя и дорогу.  
Погонею увлечены,  
звереют люди понемногу.

Глядят сквозь зыбкое стекло —  
дождем его заволокло —  
на зайца под огнем кинжальным  
и заячьей души не жаль им.

Растет преследованья страсть.  
Невольно вскрикивая, тужась,  
летят охотники — а страх  
у зайца переходит в ужас.

И в ливень переходит дождь...  
Машина злится как борзая,  
и света грозовая дрожь  
внезапно темень прорезает —

в колонне узких тополей  
ветвится молния — прекрасно! —  
Спасая зверя и людей,  
раскалывается пространство.



Судьба, я тебя потешу —  
дождешься, наконец...  
Уносит рыжего Бешу  
красный жеребец.

А розовая пена! —  
апрель — по горам — везде.

А ветер, словно гиена,  
виснет на хвосте!

Клубом — влетают в ущелье.  
— Вернись! — Вернись!  
Оборвалось веселье,  
был тесноват карниз.

На склоне перед закатом,  
обычай старый храня,  
похоронили рядом  
наездника и коня.

Выступила прозрачная  
звездочка...

Погоди!

Юность моя растроченная  
не вся еще позади.

Вновь:

мальчишка седлает  
красного жеребца.  
Сладит с тобой? Не сладит?  
Отныне — и до конца...

## ЭТО ДЕЛО

К вечеру явился сван длинноногий,  
Бабки опутал, повалил быка.  
Гулкие донесли отроги  
Эхо падения — издалика.

Ветер безумья, с дороги сбитый,  
красные по щебню разбрызгал цветы,  
Выворачивались из орбиты  
очи,  
иссиня черны и чисты.

Женщина — свидетельница сидела,  
и, неведомо, отчего,  
было ясное это дело  
вне разумения моего.

Налетели сумерки как вороны,  
разболелась бедная моя голова.  
Кончились, как патроны,  
мои слова.

Сделал дело сван долговязый,  
выпил должное — пошел прочь.  
Надорвались каменные связи:  
оползень двинулся в эту ночь.

**КАРТИНА**

Рисуй картину: сумерки земли,  
 пологий долгий свет. Багровый сланец  
 над родником прозрачным надколи.  
 И для крестьянских лиц найди румянец,  
 в котором краски полдня запеклись,  
 и тень найди, где вся судьба сгустилась  
 и словно эти горы очертилась:  
 там свет пылает, там безмерна высь...

**МЫ ЕЩЕ ПЛАЧЕМ**

Мы плачем — от живой причины:  
 от радости или кручины,  
 открыто или затаясь —  
 или мрачней как мужчины  
 или как женщины — светясь.

Жив человек — он плакать может!  
 Еще не допито вино,  
 и честь зовет, и совесть гложет...  
 Еще не все, что нас тревожит,  
 у жертвенника сожжено.

**ГОЛОС ОТЦА, ПОГИБШЕГО НА ВОЙНЕ**

Убить легко, мой сын, — пылинку сдунуть.  
 Родился ты — я умер на войне.  
 Вы не умеете о смерти думать,  
 вам некогда, живым, — не то, что мне...

Живи, живите с миром, заклинаю!  
 А я истлел в утробе земляной.  
 Как странно, сын, что я тебя не знаю,  
 как хорошо, что говорю с тобой...

**НОВОГОДНЯЯ БАЛЛАДА**

По старинному и печальному обыкновенью  
 В новогоднюю ночь созываю покойных друзей —  
 И приходят, приходят, приходят любимые тени —  
 В доме тесно и празднично — я принимаю гостей,

Отдаляются стены, и странно свежее, светает.  
 Мои гости широко рассаживаются кругом.  
 Позабывшее слово звучит, и веселье блистает,  
 И блестят и не тают снежинки—на одном, на другом...

Как скала, в отдаленье стола возвышается Гогла —  
 Первый гость на Москве, первый в Грузии тамада —  
 И глаголу его отзываются мерзлые стекла,  
 И Симон мой, потупясь, улыбается, как всегда.

Звон бокалов наполненных — перезвон колокольных —  
 Славно сдвинулось время! — и вьюгой заносит Москву.  
 Кто-то новый в прихожей — туда устремляется Гольцев,  
 И оттуда идет горловое гудящее ууу...

Это взял он у вьюги, у смутных заводских предместий.  
 Встали все — Заболоцкий сидит, опершись на кулак, —  
 Входят — быть им по смерти назначено вместе —  
 Лара в черном и небесно седой Пастернак.

— Тициан не придет, потому что он ищет могилу:  
 Как слепой он прошел перед нами и канул в буран.  
 — И Паоло не едет — не хочет...

Баллада погибла,  
 Телевизор включили, и хлынуло время в проран...

Новый год. Быют часы. Возглашаются бравые тосты.  
 Протираю глаза: поздравляют, надеются, пьют.  
 И зияет и саднит проран между «рано» и «поздно».  
 Никому ни о ком на Москве петухи не поют.

## ГАМЛЕТУ

Ветвь Гамлетов тобою прекратилась.  
Однако, без вины твоей прямой,  
Твое потомство страшно расплодилось.  
Один из Гамлетов — приятель мой...

Не ведают они — твоих сомнений.  
Вопросы их понятней и новей,  
И тщетно будят горестные тени  
Своих храпящих здраво сыновей.

Быть иль не быть? Они без колебаний  
Где надо, будут — и наверняка:  
На панихиде, в ресторане, в бане  
Приличья ради — опоздав слегка...

У совести, однако, на пороге  
Они промнутя до седых волос.  
Я им давал посильные уроки —  
Мне это пагубно отозвалось.

Увы, мой принц! Я вязну в их поруке,  
Мысль холодеет, изменяет речь...  
Дай, Гамлет, хоть мои слабеют руки,  
О твой клинок я наточу свой меч.



Что это? Что это — милость твоя или кара?  
Господи, не нахожу, подобающих слов.  
Сил моих нет — я не вынесу этого дара,  
Как ветхая звонница — оживших колоколов.

Жду и прислушиваюсь к пробужденному звуку,  
Жду и себя заклинаю: мужайся, изволь  
Редкою честью считать одинокую муку,  
Радостью называть эту жизнь, эту боль...

## МАЙСКИЙ ЛИВЕНЬ

Грозовая мгла по долинам.  
Смерклось — вспыхнула — раздалась!  
Сад поеживается под ливнем  
И потягивается всласть.

Побурел проспект Руставели  
И выходит из берегов...  
Что осенние пустомели?  
Ливни мая — пиры богов!

Дети радостные босые  
В разноцветных дождевичках:  
И «готические» смешные  
Капюшончики на глазах!..

## ФЛОРЕНЦИЯ

Упадок цвета. Выгорает шафран.  
 Тусклый камень. И потому —  
 пульсирующий экран — сквозь воспаленные веки —  
 память крови и катастроф.  
 Мрамору предпочли фарфор.  
 Совершенные — до жалости — хрупкие мадонны —  
 дух бесплодия —  
 как трава, вырастающая без солнца.  
 Вереница видений — продолжение вчерашнего фильма.  
 Пестрые леопарды переплелись в персидском ковре.  
 Белые крупы коней вспучили фреску,  
 и ясно, как им тесна золотистая шкура,  
 и самый  
 первый —  
 уже вне искусства и кадра.  
 Не было титров, и голоса было не надо —  
 только кровавая террацота  
 крупно и близко скользнула под вопль тормозов —  
 срезанная чертою карниза.  
 Как вы живете на магме?  
 Живут, ничего.  
 Пьют и едят, и позевывают, и перекидываются  
 шутками.  
 И опять  
 сквозь воспаленные веки —  
 ассиметричная крабообразная тень  
 Буонарроти:  
 к ступням прибиты зрачки,  
 в лоб врезан фонарь для полночной работы.  
 Камень и глаз — вот и все.  
 Белый Давид. Белый Давид —  
 Свинцовая примочка на воспаленную душу,  
 Громадный белый Давид —  
 после бескрылых мадонн,  
 после безвыходной мощи коней,  
 и орнамента леопардов...



Тащится — ковыляет — стелется прочь  
крабообразная тень.

Мягко ступая — зрачками.

Собственную волоча за собой

— шкуру,

след оставляя на палевых плитах.

## ПАВЛИН

Стелется под ноги июльский асфальт —  
жирный вяжущий камень, выдуманный шумерами;

Шею захлестывает мужской упрек —

словно кева или варенье тягучий,

но оснащенный шипами,

словно ошейник.

Затылком, стрелой позвоночника

чувствую своего преследователя.

Вижу — на синем —

клиновидную бесцветную тень.

Бронзовые брызги солнца

вонзаются мне в суставы.

Еще квартал, еще квартал —

и я поверю упрекам,

и обернусь,

и превращу в жалкую шутку

вчерашний день.

Но как методично движется тени!

Как расчетливо жалят слова!

Нет!

Мы не остановимся никогда!

Никогда...

В створе улицы

возле пыльной и ржавой изгороди боярышника —

господи, слава тебе! —

вспыхивает павлин —

потрясенье моего детства,

палитра моей печали...

Подождите — все.

Я родилась — именовать цвета

и раскрашивать будни!

А если округло сказать:

ПАВЛИН —

слово не вынесет великолепия...

ПАВЛИН —

я пою

и оборачиваюсь —

как армия, которая и не думала отступить.

Ну, конечно!

Он уже прыгает и кричит, что я сумасшедшая.

Я — сумасшедшая —

если нормальны эти грязно-тусклые вороны,

эти пыльные воробьи,

этот асфальт, эти люди,

чующие скандал.

Пламя павлина,

чистое и внезапное...

Вот — возьмите его!

## ЗУЛЬФИГАР

Вечный Понт был спокоен и необозримо велик.  
 Две всплывали земли, означая суженье простора.  
 В этом месте морская волна, надломив материк,  
 улеглась отдохнуть голубым перешейком Босфора.

Над тесниной пролива полуденный сонный покой.  
 Еле с берега анатолийским дымком потянуло —  
 и до Азии милой легко дотянуться рукой  
 и другою — достичь минаретов святого Стамбула.

Краны порта, террасы и тающие облака...  
 Тишина — стольких дум и кровавых страстей средоточье.  
 Эти полюсы как бы магнитного материка  
 над искрящейся зыбью мне сразу предстали воочью.

Рад я запад обнять и к востоку душою тянусь —  
 так на нежном стебле обращается к солнцу растение.  
 Радость встречи с тобой, о Стамбул, так похожа на грусть.  
 Море Мраморное так похоже на море забвенья.

Грустно тари поет, и невнятная слышится речь —  
 то корабль рассекает волну преклоненною грудью —  
 и стоят острова, погруженные в воду до плеч.  
 К одиночеству клонит меня синева и безлюдье.

\*\*\*

Пусть меня защитит полосатого тента шатер —  
 свято место пустым не бывает уже спозаранок —  
 по-грузински бокалы звенят, и чужой разговор  
 непонятно течет, словно темные косы турчанок.

И уже отошли и подернуты мглой вдалеке две земли...  
 Слезно плачет баята, и плач красоты несравненной  
 изгибается плавно — и бубен кружит налегке  
 и, вздохнув как прибой, рассыпается бронзовой пеной.

И подходит ко мне Сулейман, и берет он мои  
две руки... Две ушедших земли не обнявшие руки...  
Как ты понял меня в ту минуту, скажи, не тай,  
научи меня, друг, самой лучшей на свете науке.

Мы сидим от соседей хмелеющих наискосок.  
Это тюркское лоно, и речь их понятна Рустаму.  
Но в расщелинке узкой блестит Сулейманов зрачок —  
темный блеск родничковый, меняющийся беспрестанно.

Сердце с памятью спорит... Поднимем бокалы, Рустам, —  
я душою в Тбилиси — и этот же отблеск рубина  
у мухранской лозы... Мир и благо и этим местам  
византийским, и всем, что с тобою зовем мы чужбиной.

И как будто бы горбится времени водораздел:  
сердце — память... И рядом — потомки Ага-Магомета —  
не друзья — не враги... О, не зря Зульфигар поседел...  
Ты позволь, я читателям нашим напомним про это.

\*\*\*

Море дремлет. В безветрии, в синей и солнечной мгле  
долгий след пропадает... Но сказано: кровь не водица —  
след Ага-Магомета не стерся еще на земле,  
и пожарище злое чадит и поныне дымится.

Ятаган поразил сердце дивного Саят-Новы —  
вдохновенною жизнью за веру свою заплативший,  
он погиб... Полыхает Тбилиси, и траур вдовы  
темным пеплом ложится на доли отчизны притихшей.

Так земля умолкает, певца своего проводив...  
Дух несчастный Каджара совсем помрачился от крови.  
В Карабахе плененный готовился к смерти Вагиф...  
Но возмездье стояло у ханского сна в изголовье.

Зульфигар! Кто служил властелину, как верная тень,  
полный рабского благоговенья и божьего страха —  
Зульфигар — стал Арсеном... Чуть брезжил карающий день —  
пролилась Магометова кровь посреди Карабаха.

Весть благая прошла словно дух над равниною вод.  
Солнце утра явилось, лучами торжественно грянув,

ликовал под напевы Вагифа и плакал народ,  
и преступное войско с народом смешалось, воспрянув.

\*\*\*

Ни один не приблизился к месту, где умер злодей.  
Погребения хан дожидался три дня и три ночи.  
И земля не хотела его принимать, и людей,  
как и прежде, страшили уже помертвевшие очи.

Величал Зульфигара спасенный от смерти Вагиф,  
но глухим ко всеобщему празднику тот оставался.  
Страшный подвиг его сединой убелил, превратив  
во мгновение ока из юноши в скорбного старца.

Во мгновение ока! Мы знаем, увы, Сулейман,  
как возмездие кровь леденит и трудна справедливость:  
Зульфигар стал избранник ее — как поэт, как титан —  
принял смертную муку — и радость оставил как милость!

Престарелый Вагиф и седой Зульфигар обнялись.  
Так два века стоят они рядом — два мужа и брата,  
две вершины — их видят Баку и воскресший Тифлис...  
Пусть, однако, старинную быль продолжает баллада,<sup>7</sup>

\*\*\*

Ночь возмездья. Все спит. Низко падает пламя костра.  
Труден сон Мамет-хана последний. Широко-волнисто,  
низко стелется небо... Но в прорези узкой шатра —  
чей-то взор, осторожно мерцающий, остро-лучистый...

Эти очи не спят — и баллада возложит венок  
на прекрасную голову пленницы — юной грузинки,  
и нежнейшая эта рука передаст Зульфигару клинок,  
и любовь укрепит его дух в роковом поединке.

И пускай та любовь, просияв над его головой,  
двух соперников узами свяжет высокого мифа  
очи, пред Зульфигаром горевшие в миг роковой,  
в миг блаженства собой украшали газели Вагифа...

Ночь светлеет, и суд совершается над палачом,  
и «какун карабаха» к крылатую вестницей-девой

4\*

над дорогою стелется рядом с рассветным лучом —  
вздых свободы самой, разрешение скорби и гнева.

\*\*\*

Так прославим же участь героя и счастье певца!  
Быль повита легендой — живую лозой плодоносной:  
эта гибкая прихоть питает людские сердца,  
цель благу свою сообщая истории косной.

Долго тени безумцев маячат над миром, увы,  
не скудеет враждою земля, вся в пожарищах черных,  
но — причастные песне — мы споем о величье Любви,  
о ничтожестве злобы и распри сердец помраченных.

Сулейман, если песня о славном герое жива,  
пусть отсюда она долетит до Баку и Тбилиси!  
Две земли потонули. Ложится кругом синева,  
что нисходит как благословенье полуденной выси.

#### ОГНЕУПОРНА ЗЕМЛЯ, КЕТЕВАН!

Ветер толкает и тащит волоком  
облако грозное за облаком.

Там, за Рикоти, в расселине гор —  
ливнем промытый ясный простор —

так гончары улыбаются в Шроши!  
Путь недалекий. Полдень хороший.

По седловине — сплошь краснозем.  
Чудо отсюда с собой повезем.

Седла, малиновые подседельники...  
Сказочники, чудотворцы, скудельники,

ваш этот замысел — кряж этот горный —  
с рыжей подпалиной, искрасна-черный.

Кабы не вы, горшечники Дзирула,  
ложе такое река бы не вырыла...

Вот и заводик — словно камин.  
Сотню оттенков знает кармин.

Сотню-другую знает шафран.  
Огнеупорна земля, Кетеван!

Звонок сосуд — сокровенное пламя  
теплится в каждой ложбине и яме.

Шен<sup>1</sup>, Кетеван, мастерица огня,  
вижу тебя, глаза заслоня.

Ты подаешь, как на ладони,  
звонкие динасы в Зестафони.

Ты мне поешь о разлуке и счастье,  
красной гитары сжимая запястье.

Эти цветы на гончарном дворе,  
отогреваясь, цветут в январе.

Что им за дело до зимнего климата!  
Благословенна тонкая глина та —

смугло-шершавая, без глазури!  
Благословенны чинчилы и чури,

этот карьер девятивратый,  
эти дела пятилетки девятой.

Что же все это — душа или форма?  
Вера в грядущее — огнеупорна:

ты — хоть когда-нибудь — вспомни меня,  
шен, Кетеван, мастерица огня.

---

<sup>1</sup> Шен — ты (груз.).

## ХЛОПНУ ПО ПЛЕЧУ МЕРАБА

НИЧЕГО, ПОГОДИ,  
ПОДРАСТУТ НА АЛГЕТИ ВОЛЧАТА!  
Впереди  
сыновья и внучата.

Сиротеть остаюсь —  
ничего. Есть на свете  
скорбь и вера — союз  
бонзы с камнем Алгети.

Меч потомкам отдай,  
ножки детские — тяжестью скорби,  
скоротай  
песнь надежды и скорби.

Древней славы колокола —  
здесь, под сердцем.  
Это мать отдала  
меч младенцам —

и стоит, стройна —  
боль и благословенье.  
Обнимающее времена  
вдохновенье.

Нелегко, Мераб, нелегко,  
не для слабеньких...  
Нежной матери молоко  
напитало твоих косолапеньких.

А теперь — как ты прав! —  
каменеть материнскому лону.  
Дай, Мераб,  
по плечу тебя хлопну!

Знаю, время не станет ждать —  
это меч его,  
и младенцам дать  
больше нечего...



Но в бою победят они,  
крепьши, кривоногие чада.  
Слово верное пемяни:  
ПОДРАСТУТ НА АЛГЕТИ ВОЛЧАТА.

**ПИСЬМО С ФРОНТА**

Лето минуло, осень остыла.  
 Долго не было писем от сына,  
 ждал старик — только сроки прошли —  
 так и умер, и вынесли тело.  
 К погребенью письмо подоспело,  
 над усопшим его и прочли.

Постояли над ним неутешно...  
 Он лежал, будто слушал прилежно,  
 прикрывая глаза, как живой.  
 И слышали горные ветры  
 и глубокие приняли недра  
 это слово — привет фронтовой.

Это слово сверкало слезою  
 и в горах грохотало грозою  
 и за полночь стучалось в окно.  
 Это слово умолкнуть не может,  
 и живых неусыпно тревожит,  
 и покойных покоит оно.

**АРСЕНАЛ**

Он отслужил свое. Ему почет,  
 как редкостным музейным экспонатам.  
 А памяти магнит меня влечет  
 к его стенам и черепичным скатам.

Подобно зданье старому орлу,  
 который, одряхлев, не держит крыльев.  
 Сознание погружается во мглу,  
 пустое время длится, опостылев.

Но есть у жизни золотой запас,  
 и потому возможно перестарку



Но павшие друзья не слышат нас.  
Мой голос одинокий умолкает —  
лишь под землей пороховой запас  
шуршит, волнуется, перетекает.

Стар хищник и угрюм и жизнью сыт,  
и в крыльях нет ни силы, ни державы.  
Он вечно дремлет — никогда не спит.  
Он хочет смерти и последней славы.

И замысел его велик и дик,  
и мыслит он взлететь единым махом  
с горою вместе, — чтобы в этот миг  
все разрешилось пламенем и прахом.

Он создан нами — и пришел черед  
ему не быть — и он умрет, как воин.  
Он старое оружие бережет  
и память старую прошедших войн.

Сурова истина, но в этот час  
поруки горестной не разорву я.  
Что свет без темноты? Что я — без вас?  
Что юность ранняя без поцелуя?

Студенческие годы — без долгов?  
Рожденье — без звезды новорожденной?  
Храм — без молитвы? Поле — без врагов,  
Где ляжет мертвый и непобежденный?

И дремлет Арсенал, и длится сон.  
Нет никого — следы друзей погибших  
покрыты серебристою росой,  
а рядом пятеро — новоприбывших...

Идут другие — за волной волна.  
Пробитые шинели и бушлаты.  
Гамарджобат!<sup>1</sup> На всех на нас легла  
победа — всю мерю расплаты.

---

<sup>1</sup> Г а м а р д ж о б а т — привет вам! (Грузинское приветствие.).

Идут — как тучи по отрогам гор,  
и валит снег сквозь сумерки густые —  
неслыханный аврал, всеобщий сбор —  
о, сколько вас, какие молодые!

Живые! Грузии моей сыны —  
живые — толпы — волны — вереницы,  
Пределы жизни нам всегда тесны —  
тесны погибшим смертные границы.

Пусть никому судьбы не превозмочь —  
в строю стоим — едином, обоюдном —  
во сне, в начале мая, в эту ночь,  
в рассветном сумраке, в пространстве трудном.

#### ПРОПАВШЕЕ ЧИСЛО

Хотел я время превозмочь  
в открытой схватке. В знак раздора  
я разломил однажды ночь,  
как бы плиту из лабрадора.

Мне не составило труда  
порвать связующие звенья.  
Так ниоткуда — никуда  
прошла расселина забвенья.

Лежал я мирно на траве,  
самодовольный и бесстрашный,  
и продолжался в голове —  
однако! — тост позавчерашний.

Куда же целый день исчез  
и утро кануло, и вечер?  
Ни жив ни мертв — но был я трезв  
и в этом промежутке — вечен.

День  
грубо начался  
с торца.  
Дня предыдущего — не стало.

Число пропало, как овца,  
которая дороже стада.

Утрачен — вечности залог.  
Не будет больше воскресенья...  
Раскальвает потолок  
беззвучное землетрясение.

Над книжечкой календаря,  
как день прошел, припоминаю —  
так-сяк, и ничего, и зря —  
но то — статья совсем иная.

Недвижный вихрь несет меня —  
несет

вселенная

сквозная!

И первого не помню дня  
и дня последнего не знаю.

Но я восстал — я отдал дань  
глухим преданиям старинным.  
Вот время: режущая грань,  
где вторглась Вечность твердым клином.

### Е В А

По озаренной стороне,  
по плитам четким и узорным,  
подобна ночи и луне  
в своем вечернем платье черном

уходит навсегда она —  
ничья жена, ничья невеста  
с Единственным разлучена  
разладом времени и места.

Пустыня.  
Полночь.  
Тишина.  
Час театрального разъезда.

Высокий лоб и тень глазниц,  
и полуночный черно-синий  
глубокий взгляд из-под ресниц,  
и листьев чернь, и лунный иней.

Мой дух и плоть моя и кость —  
ничто в тебе не повторится.  
Но то, что в мире не сбылось,  
не умирает в нем и длится.

Я с нею не заговорил,  
но ей вослед подумал: Ева,  
тебя я взял и сотворил  
из еле слышного напева —

сагалобели<sup>1</sup> темных крон.  
Час поздний, час тоски великой.  
Да будет ясен небосклон  
перед тобою, ясноликой.

А я уже — на берегу,  
уже над краем ночи вечной,  
всё над краем ночи вечной,  
всё жив — и плакать я могу,  
и удивляться бесконечно...

#### РАЗЛИВ У ГУДАРЕХИ

Несутся взмученные воды.  
Нет берегов — а были тут,  
где наклонившиеся ветлы  
трепещут, тонут и цветут!

Снега окрестные блистают,  
земля курится — тлен и чад.  
Как молнии ласточки летают  
и от восторга верещат.

И каждый день — другие горы,  
другие — пашни и луга,

---

<sup>1</sup> Сагалобели — песнопение, гимн (груз.).

цвета, оттенки и узоры,  
цветы, вершины, берега.

Весь мир, стремительный и вешний,  
врученный наудачу мне,  
вконец изнемогая, грешный,  
весь день тащу я на спине...

А после, надышавшись гари,  
в районном сидя городке,  
я думаю об этом даре.  
Перо не держится в руке...

Мне улыбается крестьянка,  
ветла цветет, вода шумит,  
и песню завела шарманка,  
и что-то на сердце щемит.

А что — неведомо. Едва ли  
я буду это понимать.  
Вот горсточка домов — Жинвали —  
гора их держит, словно мать.

Арагвы блеск, апрель, деревня...  
Как щепка, брошен я в поток,  
и малый труд стихотворенья  
меня пьянит и валит с ног.

## ЛЕЛА

### *Баллада*

Морщины, трещины в стене  
хранят печальное преданье,  
и в башне ночью при луне  
глухое слышится рыданье.

То показалось или нет?  
В оконце верхнем посветлело,  
и призрачный явился свет:  
приблизилась и стала Лела.



То было много-много раз —  
ночам волшебным счет потерян...  
Но все погибло, и сейчас  
ее любимый ей не верен.

Ее неверный — к ней в окно  
из темноты влезает ловко...  
Все пусто в башне и темно...  
Дрожит в руках его веревка.

А петля мертвая сошлась  
на шее нежной лебединой...  
— Прощай, тебя я дождалась.  
Прости, будь счастлив, мой любимый!

Морщины, трещины в стене  
хранят печальное преданье,  
и в башне ночью при луне  
глухое слышится рыданье.

#### **ЗВУК БАЗАРА В ЛАЗУРИ**

Пока живи грешно и гордо —  
потом иди в последний рейс.  
За толчеей аэропорта  
мой самолет — огромный крест.

Я выхожу, сутуля спину,  
на железобетонный луг,  
хотя под эту крестовину  
не хватит мне простертых рук.

Красиво рвется воздух зыбкий,  
покорно нарастает гром,  
и невозможно без улыбки  
подумать сразу обо всем.

Пузатый тюк с лавровым листом —  
дыханье славы мировой.

Базарный гул в эфире чистом —  
земной, понятный, путевой.

Прогресс в обнимку с чистоганом,  
забот не ведая, летят,  
и я сижу в раздумье странном  
над странным их союзом;

над  
вершинами и облаками,  
над геометрией земной  
со всевозможными тюками,  
с печальной думою одной —

летим!

### ХРАМ КУМУРДО

Здесь невеликий перепад:  
десятый век внутри оградки.  
Осколки алтаря летят  
ввысь из мальчишеской рогатки.

Храм Кумурдо... Глубокий вздох  
разрушенной грудною клетью.  
Травой зарос его порог,  
и вышел счет тысячелетью.

Святыни

слабым

не дано.

Грущу о краткости обидной.  
Здесь время тешится одно  
дурною силой стенобитной.

К плите плита — к стежку стежок.  
Здесь зодчеством высоким веет  
и крест, как правильный ожог,  
на бледном камне багровеет.

Ты прочитаешь: в оны дни  
рукою грешной Сакоцари...

Мой бог, как строили они!  
Вот так бы мы стихи писали.

Никто осколков не сберет.  
Здесь точит крот и язвит аспид,  
Здесь правил бог и тек народ  
и вытек весь в проломы апсид.

Все было — и ушло вовне,  
и скорби пламенная сила  
растет,  
растет,  
растет во мне —  
возмездием того, что было.

И чуть колышется тимпан  
и прочь из камня рвутся лозы.  
Вчера — любовь,  
сегодня — слезы,  
а завтра — прах твоим стопам...

Но ласточка в пустой проем  
влетела — снова появилась.  
В глубоком существе своем  
как будто что возобновилось.

Душа, не убивайся зря.  
Благослови закон прекрасный:  
пусть служит кровлей алтаря  
живой клочок лазури ясной.

Пропасть не может красота.  
Жизнь духа — обновленья формы.  
Слезами папёрть полита —  
прозябнут каменные зерна.

#### БОРИСУ ПАСТЕРНАКУ

Могучая графика  
ярких снегов, пропастей —

все брошено, скомкано  
как черновые тетради.  
Иль это бессонницей Демона  
смята постель?  
И брат он ему...  
Но ни слова не скажет о брате.

Истлеет в земле  
и родится как звездный туман,  
и гостю родному  
и вечному переселенцу  
от севера хмурого  
кстати любой караван —  
доплыть с облаками сюда,  
к погребенному сердцу.

Еще не дописано им  
Откровенье в Грозе —  
с Мтацминдою Брокен крошечный,  
все новое с ветхим.  
Седой виночерпий  
идет к первозданной лозе,  
измученный Фауст припадает  
к неведенью Гретхен.

А жертва  
желанна по-прежнему и не страшна.  
Нечаянный жест —

и русалке подобный

скрипичный

на воздухе ключ золотится

и гнется волна...

А нищий пришел  
за похлебкой своей чечевичной,  
и каждый  
по жажде его  
получает сполна.

Он сводит и вяжет, как своды,  
и лад и беду  
обоих народов —  
он камень замковый отринул,  
и солнце дневное впустил,

и восставил звезду,  
и кладезь небесный  
над храмом легко опрокинул.

Не жалко и жизни!  
Ведь храм потому и стоит,  
что кровь не скудеет,  
чиста, как родник Зедазени.  
Однако о храме не скажет ни слова —  
глядит  
в пространство нагое,  
как лес отгоревший осенний.

Как лес в ноябре холодающем,  
влажен и тих,  
он смотрит сквозь слезы ветвей...  
Как прекрасный Иосиф —  
на братьев повинных,  
на братьев поникших своих,  
сердечную горечь избыв  
и досаду отбросив.

Сюда он придет —  
с Тицианом наплакаться всласть,  
но душу отдаст  
несравненному Галактиону.  
И звуки стихов уподобит —  
имеющий власть —  
ущельному шуму,  
колскольному звону.

Где сердце оставлено,  
где там дымится Тифлис?  
Ты прав — ты души не жалел  
и не мыслил награды.  
Тебя мы не предали —  
мы твои братья, Борис,  
и вновь — как живому когда-то  
бессмертному рады.

Поэма

Дожди шли всю осень.

По крашеным скатам  
бубнило — без совести, чести и меры.  
Таким вот потопом и были когда-то  
по свету размыты иберы.

Дыханье теснил осязаемо жесткий  
туман — будто ворот шинели колючий,  
и небо промозглого цвета известки  
вгоняло в ущелье свой клин неминучий,  
и ход останавливался громоздкий,  
не одолевая безвыходной кручи.

Шла проза и проза — тяжелым и рваным  
расхожим размером — бесформенным цугом,  
Я был недоволен стихом деревянным,  
за словом не шел, не тянулся за звуком.  
Не слушался собственной правой руки.  
И жег в камине черновики.  
Как душу томит ожидание взрыва  
в притихших горах среди ясного неба —  
накапливается поэма отзыва  
единому имени т а в и с у п л е б а<sup>1</sup>.  
Немало услышишь ты слов именитых  
любви, милосердия, веры и братства.  
Но э т о — один невозможный зенит их.  
Пишу, чтобы далее не заикаться,  
одно титаническое средоточье  
желаний земных — и небесных желаний,  
Судьба их сужает и сводит воочью,  
как сводит шатер черепичные грани.

\*\*\*

Обугленной станции бревна —  
топырятся черные ребра.  
Простор. Тыловая весна.  
На запад уходит война.

<sup>1</sup> С в о б о д а (груз.).

Солдат однорукий с котомкой  
стоит на перроне, на кромке...  
Ложится на шпалы туман.  
Шатнуло солдатика — может, он пьян?  
Да нет, он из госпиталя. Ослаб.  
Закончился первый этап  
на долгом пути потрясений,  
а пьян только ветер весенний...

...В стекло дождевою волной ударяло  
и ветреной дробью, прицельной и кучной.  
Завернутый накрест в конверт-одеяло  
лежу —

как письмо за печатью сургучной.  
Все шлюзы открыты —

и ночью и денно  
шли воды —  
и шум монотонный и дробный  
сливался и переходил непременно  
в отлетный,

спасительный,  
аэродромный,  
И сон мой сквозит в облаках, и защиты  
мне лучшей не надо — пока не уронит.  
Корабль — алюминиевый многоочитый  
пространство

крылами  
сгнетает и гонит,  
и гонит по рыхлокудрявому полю...  
В округлом стекле отражается слабо  
глазницами темными

некто,  
на волю  
бежавший, как слышно,  
с большого этапа.

Не узнан, не пойман,  
вне прав и закона.  
Оклад бороды — опознают едва ли...

Иллюминатор —  
овал медальона.  
Родные черты  
на небесной эмали...





на речные излучки —  
песни колоколиной  
соедини звуки.

Воскресение света  
на тридцатилетней кривой —  
полон круг световой  
на тридцатое лето.

И прекрасною ночью  
ты выходишь из дому  
и движешься к месту святому —  
да не будет забыто.

Звездное многоточье  
над горою Давида  
издавна — навсегда  
завершает звезда.

Первый тот  
из-за дали тридцатилетней  
терпит — ждет,  
чтоб открылся — последний.

Лучший —  
выношен, выжит  
и времени — нет...  
Слушай:  
жизнию движет  
Единственный Свет.

Оглянись — и видна  
вера твоя  
и какие возделал сады.  
Все ты видишь при свете Звезды  
Бытия.  
И — каков ты теперь,  
на пороге последней беды.

Полон круг световой  
на тридцатое лето.  
Воскресение света,  
друг мой.

\*\*\*

Мне являлся двойник  
с этой рукописью в руке —  
я оставил его  
в крепком месте —  
в черновике.

Равнодушный к условности,  
я прозрачную сделал ее.  
Оставляю герою повести  
даже имя мое.

В арсеналах искусства  
много славных доспехов — что ж!  
Лейтенант вылезает на бруствер —  
и прямо под дождь...

Проповедник — на кровлю  
для речи прямой.  
О душе думаю,  
друг мой.

\*\*\*

Вот — познакомьтесь: отрок,  
годится мне в сыновья.  
Воздушный клубок, обморок —  
тридцать лет бытия.  
...Дух захватывает — и строчка  
у края сглатывает слоги.  
Внизу — т о ч к а:  
переставляет ноги.  
Чаеется время — в долине, в ладони,  
теснится, шумит и пестреет.

Мальчик взрослеет на том склоне,  
муж — на этом — стареет.  
Столп Руставели — стебель Земли,  
В сотый раз утоли  
душу заветной речью,  
эту жизнь человечью —  
на возрасты не порви:  
вся — во имя любви.



кликушествовали на всех перекрестках —  
о господи сил!—

эти медхен, рагацце —  
до транса пифического — недоростки,  
которым так вредно еще напрягаться...

Тогда и приспела испанская схватка,  
незрелое мужество в нас раззадоря.  
Война разгоралась — и страшно, и сладко  
тянуло из-за Средиземного моря...

Тогда имена: Барселона,  
Толедо — как будто гортань холодили,  
вернувшись, как эхо, в родимое лоно  
картлийское, —

и с языка не сходили,  
и были паролем страны непокорной.  
В потемках истории с нами рассталось  
прекрасное племя

и заново

скорбной

судьбою

и рыцарством с нами браталось...

Мой бедный Отари! Как ты изнываешь —  
ты хочешь скорее отправиться к баскам —  
и выглядишь мрачным и грудь надуваешь,  
и что-то бурчишь подозрительным басом.  
Ты помнишь? Мтацминда вечернею тенью  
накрыла жаровню извилистых улиц.  
Ты бродишь один. Ты во власти виденья,  
глаза твои жестки, и брови сомкнулись.

\*\*\*

...Под красным крестом,  
под огнем, без заслона  
что — крест?

Несилен и просрочен, как паспорт,  
На рейде дымящей вдали Барселоны  
ревет, отвалив, перегруженный транспорт.

Он пулями с воздуха сплошь изрешечен...  
Что крест им? Что имя заступницы девы?  
Глохнет, как связанный от пощечин,  
его экипаж от бессилья и гнева.  
А на море полдень.

И штиль.

И дугою

далеко ушли берега золотые,  
и в синюю бездну  
                                пророчеством Гойи  
над портом вздымаются космы густые.

Виденья, виденья войны беспощадной.  
Ты помнишь учителя? Эти рассказы...  
Как сам Матэ Залка, высокий и статный,  
с простреленным легким вернулся он в классы.  
Он девочку спас под Бильбао и с нею  
отчалил на транспорте том милосердном.  
Родные погибли.

Он кашлял, бледнея,  
и, морщась, рукою махал: дело скверно...

— Когда отошли под обстрелом крошечным  
и берег означился — гнев иберийский  
воспрянул в ребенке, не перенесшем  
разрыва с землей материнской.  
Глаза были синие —

сразу два черных...

Как будто ее кипятком оплеснули —

она укусила меня, как волчонок,

и вырвалась наверх —

на спардек, под пули.

Но нечем уж выстрелить было подонку,

когда он прошел вхолостую над нами —

а может, и он подивился ребенку,

внизу потрясающему кулачками...

Лолита, просил я, засни, успокойся...

Она отвечала, что сны ей не снятся,

и все повторяла, что войско,

                                что войско

должно наступать, а не обороняться.

Ей было четырнадцать, но подружек

она сторонилась и только твердила:  
— Изменникам — пухнуть в кровавых лужах.  
— Я братьев любимых не похоронила.  
— А! Я полечу к ним на самолете...  
И дым отлетел над волнами —

как мщенье,

Все это рвалось — из неразвитой плоти,  
сжигая и не принося облегченья.  
Она утомлялась, стихала, роняла  
головку на грудь, неподолгу дремала,  
как будто старушка — в платье линялом,  
что в детстве надела и век не снимала.  
И словно бы ангел войны беспощадной  
летел над морями — высоко-высоко...  
Учитель порой говорил непонятно,  
но мы не забыли урока.

\*\*\*

Первый миг воплотился.  
Вечер позолотился.  
У лавочки керосинной  
ангел тот очутился.

Лолита!  
Она говорила:

— Пылать я  
для вас рождена — я искра Испании!—  
И тут же плясала в оранжевом платье  
для мира сего на угрюмом Майдане.  
Прицелкивала — отгибалась  
навзничь — назад — семеркой:  
— Жалеть не надо

Лолиту Суарес,  
не надо плакать над Лоркой.  
Поет и пляшет — не задохнется,  
и Лорки песня — светла и туманна.  
Испания, гордое твое сиротство  
в Тбилиси пляшет среди Майдана!

Событий бесформица, полусфера —  
огни европейского амфитеатра.

В тени Мтацминда. Пролог романсеро.  
Испания сегодня — Франция завтра.  
Ведь может нация — травой пригнуться  
и так — без выстрела, кровопролиться —  
уснуть на воле — в тюрьме проснуться?  
Но я мешаю моей Лолите.  
Она не знает и знать не хочет  
такого выбора — она грузинам  
лишь бой и доблесть в бою пророчит.

Послушай, очередь за керосином,  
тебе не боязно — так тесно рядом  
с такой плясуньей шафраново-красной,  
как этой повести — с цыганским ладом...  
Огнеопасно..

\*\*\*

Скала обрывается голо и круто,  
где иссиня-темная зелень закута  
и розовая черепица —  
деревня, где мать родилась и откуда  
невестою вывезена в столицу.  
Мы здесь: Лоликела, отец и учитель —  
по ссылке друзья и по Гвардии Красной.  
Я вам не сказал, не взыщите,  
как мы подружались с испанкой прекрасной.  
Учителю хуже и хуже... Дорога  
далась нелегко. Пулевые каверны  
кровят... Лолико — вся испуг и тревога —  
над ним день и ночь.

И дыханье неверно,  
и сон его краток.

С веранды он видит,  
как день прибывает, как день убывает.  
Он шутит, что пули проходят навывлет,  
потом возвращаются...

Это бывает.

И ласточка тут промелькнула по трассе —  
кольцо удивительное очертилось...  
Лолита порхала по светлой террасе  
и плакала в комнатах дальних — молилась.

А в небе открытом и над облаками,  
окрестные горы собой раздвигая,  
к нам Ушба плыла и блистала снегами,  
вся та же — и ежеминутно другая.  
Прекрасной отчетливостью очертаний  
дышала вершина, пространством владея,—  
и сами предгорья казались туманней  
и дальше нее — громоздясь перед нею.  
Она крутизной к небесам тяготела  
и думать о смерти земной не хотела.  
И словно бы внятно звучала для слуха  
вечерней зарей эта стройная алость.  
Была ей доступна житейская малость.  
и тайная тайн полувзрослого духа.  
Все эти недели она горевала  
и в сумерках быстрых — все зорче, все явней  
свечой возгоралась — потом оплывала  
лиловою тенью бессонницы давней.  
Она помогала измученной Лоле,  
она, я ручаюсь, была солонее,  
чем глубина каменной соли  
на крыше сарайчика, схожая с нею.

\*\*\*

Мы едем с отцом.  
Имеретии лето  
вздохнуло — дыхание затаило.  
А мама стоит в стороне от сюжета —  
всего совершенного суд и мерило.

Мы едем.

Гранат отцветает.

На вдохе  
июль замирает, как лозы на грядке.  
А мама стоит в стороне от эпохи,  
и черного платья недвижимо складки.

Мы едем. На перевале свежееет.  
Я вижу: отец за рулем хорошеет.  
Он «фордик» ведет — словно глянец наводит,  
Когда нас заносит на повороте, —  
Отец улыбается: с ним происходит



все то, что сейчас происходит в природе.  
Он в черной бостоновой паре. В петлице —  
граната цветок. В волосах нашей Лолы  
остался такой же — и мне это снится:  
отчаянный «фордик» и горы и доли.  
...Гранатовый цвет не имеет оттенков, —  
я думал об этом. Он красный. Он мера  
соседних цветов, и со времени предков  
ничто не слиняло в нем, не побледнело  
и не покраснело. Он красный. Он пышет  
и жжет. Он закончен и весь — неподвижен,  
как сильная ось, — но смещает и движет  
цвета — он избранничеством не обижен.  
Он не принимает рефлексов. Он полон  
своими и — всем и всему раздает их.  
Он красным вином на закате опоен —  
таким и умрет — не уступит ни йоты.

Отец не избег той нерадостной части,  
что в этой истории не поместилась.  
Мы чтили его — и родительской власти  
порою тяжелую справедливость.  
Что в тиглях своих вскипятила эпоха —  
во имя ее — в неизбежном составе —  
он принял, как сталь принимает опока,  
и выжил, и даже потомство оставил,  
он правое знал и неправое дело.  
Из каторжных каменоломен и копей  
им вынесенная суровая вера  
подлинником была — не копией.  
Отличая сброд от народа,  
веяния от ветра,  
напоминал он сильной природой.  
природу горного кедра.  
Ветви ломали ему? Немало.  
И повалить могли бы.  
Гнуть не могли — не того матерьяла.  
О характеры! Пальмы, липы...  
А глицинии тело  
востекло по стене,  
раскидалось, куда хотело,  
расцвело по весне...

Будто Лола щебечет  
 и кричит «догони»,  
 в чет и нечет играют сентябрьские дни.  
 Замечаю,  
 что в школе ужасная скука,  
 что скучаю,  
 что придумано слово «разлука».  
 Мучай, мучай...  
 Другие не нравятся мне.  
 Друг мой лучший  
 разбирается в красном вине.  
 А я — в белом:  
 за тех выпьем, кто далеко...  
 Лоликела!  
 За тебя, Лолико!  
 Твои ломаные  
 повторяю смешные слова  
 и не знаю, что — Лолины  
 над душою права.

На небе не видно особенных знаков.  
 Октябрьское солнце по-летнему жарит.  
 В нейтральной великой державе Монако  
 в стремительном желобе прыгает шарик.  
 Накапливаются тридцатые годы,  
 спешит не оглядываясь тридцать девятый,  
 глядит в потаенные тихие воды  
 судьба неприметная, как соглядатай.  
 На школьном дворе прыщеватых мальчишек  
 с оружием она собирает,  
 и, видя при этом какой-то излишек,  
 она головы не ломает:  
 на первый-второй рассчитала,  
 пометила тенью платанов и грабов,  
 и каждому первому предназначала  
 прославить Отечество смертью храбрых.  
 Добро бы... Так просто: чет или нечет —  
 определенный рисунок...  
 Кого-то, однако, она искалечит —  
 полжизни отнимет,  
 полсмерти подсунет.



за лето перед войною.

О раннее лето и ранняя юность...

У берега сброшено платье — как детство,  
и так неожиданна эта округлость,  
что я цепенею в случайном соседстве.

На месте застигнутый, оторопелый,  
гляжу:

Лола сходит к воде...

Заслонилась.

На миг только радугой влажной —

и тело

пропало, как будто бы воспламенилось...

Опять Лоликела

соткалась из света,  
из брызг водопада, который сутуло  
над ней нависал,

и — по слову поэта —

хрустальную шею она изогнула —  
как падали струи — движеньем согласным.  
Но что-то пугливое, что-то оленье  
мелькнуло —

и вздрогнувшим телом прекрасным

она увидала меня в отдаленье.

Смятенье! Беда!

Водопадные плети,

лозья, на бегу разрываемый туго...

Неделю-другую несчастные дети

ужасно молчат и дичатся друг друга...

Вы видели

радужно-млечного камня —

опала

мерцающие переливы?

Она покраснеет — и я...

И куда мне

деваться?

О господи сил справедливый!

Забилось — и вновь: незнакомая, плавная  
линия кисти — запястья — предплечья...

Так ломаная, угловато-забавная

речь становилась п е в у ч е ю речью.

Родная долина — подобье колодца,  
и чувство такое впервые знакомо:  
тесно глазам, и зрение рвется  
на линию горизонта морского:  
не сломится и не застрянет,  
влетев в полусумрак ущелья...  
У берега сердце замрет и воспрянет,  
почуяв свое назначенье.  
Невнятно, впервые все это заботит,  
и ты б от души посмеялся тем бредням,  
что отроческие предчувствия сводят  
с раздумьем и знаньем сорокалетним.  
Ты видишь двумя, слава богу, глазами,  
а третий — прорежется...

Надобно время..

Море сливается с небесами.  
Это когда же — в июне? В апреле?  
Были — или приснились?  
Двое вы — и море — впервые.  
Бесконечностью разрешились  
контуры ломаные и кривые,  
и глаза

от земли

ушли —

цвета блеклой морской дали.

Вы здесь, у Гагрипша —  
на слете, на съезде  
во имя Испании  
еще не погибшей  
и жизни бедной,  
ценою чести  
не пожелавшей  
и не купившей.

Тогда следящий  
народов судьбы  
оплакать мог бы  
твое закланье,  
страна Иберия,  
земля Испания, —

и это было  
событий сутью.

Страны бесслезной  
укор и пени.  
Речей и прений  
струна и тайна..  
Нет, ни единый  
потомок Сида  
слезы не пролил,  
не подал вида...

Одна виолина  
на темной эстраде  
не вынесла Правды —  
причастная Правде,  
не вынесла музыки  
и безъязычья —  
пламенной исповеди  
«Каприччио».

А там,  
за морем, страна умирала  
И небо пожарами подпирала,  
Мы живы — значит,  
мы виноваты!  
Мой гений Лола, одна права ты —  
Как сердце наше и наши братья,  
в Мадриде спящие, в Ленинграде...

Сияет солнце в небесной смальте,  
и двое в путанице тропинок  
уже толкуют о дерзком десанте,  
о пулях и карабинах.  
Корнистый кустарник, осыпь сухая,  
пахнет каменной пылью,  
и над морем стоит, полыхая,  
солнце Кастильи.

Грузия и Баскония —  
тайна родного лона —  
свет — синева исконная —  
очи твои, Лола.



Вот жизнь,  
вот простор сопредельный.  
Граница, секущая тайны и яви,  
вам служит преградой смертельной  
и заповедью не лукави.

Река протекает  
по желобу ложа,  
камней не тревожа, —  
и вдруг иссякает,  
чего ей, конечно же, делать негоже.  
Уходит, уходит вода без оглядки,  
и серо-зеленые камни сухие,  
что в русло вросли в вековом беспорядке,  
лежат, удивленные новой стихией.  
И прочь, и подальше от бывшей реки  
детей отгоняют тогда старики.

Так тихо, что даже смолкают лягушки,  
и к лужицам русла спуститься за рыбой  
боится народ. Бога молят старушки...  
Речонку в верховьях заклинило глыбой.  
А сладит ли малая речка с плотиной,  
повиснет ли озеро

над долиной,  
сорвется ли вниз?

Не знаем о том.  
Послушаем тишину. Подождем.

И словно бы конная лава  
врывается в пойму — за нею — ни пыли,  
ни дыма — за нею разор и потравва...  
Всю пойму булыжником обмолотили  
свирепые дэвы — и сгнули все.  
Лежат берега в первобытной красе.  
Содеянное итожа,  
светла, как ни в чем не бывало,  
река пробегает — по свежему ложу,  
по старому... Как попало.  
А свежее это — кто знает? —  
быть может, путем пролегалo исконным,  
и верность ему сохраняет  
мятежная речка в стремленье наклонном?



А мы сокрушаемся, взглядом окинув  
побоище почвы, камней и деревьев,  
мгновенье —  
из общего времени вынув...  
Метафора стала стихотвореньем.

Озерцо. Торможенье. Косноязычье.  
Броженье ума.  
Выпрямляется притча,  
и дышит природа сама.  
В арсеналах искусства  
много славных доспехов — что ж  
тот безумец выскакивает на бруствер —  
под дождь...  
В этот миг — кто-то новый родится  
для речи прямой.  
Так накапливается водица,  
дорогой мой.  
Злоба—злостью. День краток, а нам бы  
в с е обнять.  
Что ж на русло, на бедные дамбы  
пеньять?

\*\*\*

Мы были застигнуты вестью суровой,—  
как парусник—в штиль на просторе морском —  
нежданным порывом, внезапным броском  
соленого ветра сырого.  
Отец мой страдает без меры.  
Какие морщины — какое тисненье!  
Искус — испытание веры.  
За приступом — приступ сомненья.  
Несчастье друга — вот горе  
для сердца мужского...  
Часами  
сидел он у мрачного моря.

Шли волны всем фронтом, и между камнями  
рвалось там и сям — за бомбою бомба.  
Но слушай:

другое, другое —  
возникло опять:  
гекатомба —  
над пеной, над бойней прибойя.

Так явно присутствие звука и знака —  
а волны, а вся буйволиная стать их,  
а жертвенный рев их...

Однако  
не надо по сотням считать их.  
Когда

море  
вздрагивает, набегая,  
всей шкурою пегой — при вспышке лиловой —  
единственная — никакая другая —  
забота моя — явление с л о в а...

А Лола?

Известье едва не убило  
бедняжку — осиротило еще раз.  
Воспрянув, однако, она заявила,  
что едет немедленно к маме Дэлорес...

Нырнет солнце из просини в просинь,  
и вспыхивают аэродромные плиты.  
Недаром в мокрую эту осень  
так ярки проводы моей Лолиты.  
Я знаю: все то ярче яви  
мне сниться будет...

Я знал тогда еще...  
Оно является в полной славе  
сегодня в жизни моей светящейся.  
Умытый камень едва дымится,  
как будто дышит он — и впредь изволь же!  
Лолита рада — она стремится  
в Москву за правдой — чего ей больше!  
С утра капризничает погода  
и тени гоняются по сизым склонам —  
и дух ликующий Дон-Кихота —  
на всем.  
О господи, ну право, что нам  
на целом свете другое нужно,  
как только это:

спасать любимых?  
Дождь проливается. Свежо и душно,  
и блещет бездна в прорывах дымных.  
То перестанет, то накатило...  
И что так небо сентиментально,

какую память разбередило?  
Ведь Лоликела дойдет, достанет...

Поле взлетное ложится полого —  
вот так ложится самолет на крыло,  
и вы, пожалуйста, не судите строго:  
меня покачнуло — и повело...

А на ногах я от роду прочен...  
Лолита всходит для монолога  
по влажному трапу... А впрочем,  
не надо. Не скажет — напишет,  
и даже письмо мы отложим,  
затем, что иное дыханье,  
которого не перевозим,  
пустые страницы колышет,  
и странное что-то творится  
под сердцем у повествованья.  
Давно полушарье круглится  
беременностью земной.  
Для матери нашей честной  
приспееет пора в апогее  
на будущий год.

Неустанная Гея  
опять разрешится войной.

И что-то еще происходит со мною:  
за плотною матовою пеленою  
подобья сквозят и теряются тени,  
которым не додано звука и света.  
Взлетают и падают на колени  
и делают лунные пируэты.  
Там слово живое себя исчерпало,  
и черт не понадобилось царству подобий.  
Одна появляется тень Вот попала  
в объятья другой — накрываются обе  
трапециевидною тенью вагона —  
и пусто.

И странное тусклое солнце —  
как будто его негатив — остается  
и долго висит на краю небосклона.  
Там, кажется, оживилось пространство:  
две точки возникли... Одна догоняет  
другую — и в этом нельзя разобраться,  
и пленка с годами линяет.

Падает снег  
на Тбилиси притихший.  
Праздник у всех,  
особенно у мальчишек.  
Утром лежит снег,  
словно лежит свет.  
Легкость покрова,  
Яркие тени.  
Прикосновение слова.  
Ступени,  
ветви тяжелые снегом клонимы —  
кедров трагическая пантомима.  
Эти распятья, эти объятия  
должен когда-нибудь пересказать я.  
Легкое бремя  
белого света —  
легкость балета,  
яркость страдания,  
и над городом синева,  
радость очей моих — такова...

От зноя — как снега — бело,  
и солнце, над городом стоя,  
небесные грани свело,  
поскольку предела и строя  
желает отвесный простор —  
как сердце желает забвенья,  
как синий взлетевший шатер —  
солнечного преткновенья.  
Отыскивают глаза  
средоточие тверди...  
Думаю не о смерти —  
о странствии з а . . .

На братских могилах в тишайших местах  
покоится и м я на мертвых устах.  
Где пламень живой и падучий  
и где не увидишь пустого лица,  
истории свежей и жгучей  
ирония  
нам раздирает сердца.  
Погибшие единоверцы,  
столетье на третий взойшло перевал...

Любовной стрелою пронзенное сердце  
художник бесхитростный нарисовал.  
Где отсвет на мраморе зыбкий,  
где витязи-братья стеснились плечами  
над вечным огнем — это место печали  
смягчилось невольной улыбкой.

Белый тбилисский зной  
пахнет дымом и кровью.  
Весь народ застигнут войной,  
весь человек — любовью.  
В нем — золотым снопом —  
грозный строй и смятенье.  
Ты — расплети потом  
солнечное сплетенье.

Правое дело, правый бой —  
выскользнула душа из тела,  
как дитя из сорочки льняной.  
Правый бой, правое дело.  
Это — говорю, отлучась  
от площадного витийства, —  
нам выпадает в позорный час  
человекоубийства.  
Так является воля — в тюрьме,  
словно некуда деться...  
Так ребенок пишет в письме:  
папа, убей немца.

Полдень. Университетский сад.  
На костыле калека  
ковыляет — вперед — назад —  
три четверти человека.

А белизна! А синева!  
Раз — два, раз — два! —  
новобранцы — сюда — из Ваке.  
Митинг шумит. Совершается быль.  
Укрепясь на одной ноге,  
инвалид поднимает костыль.

Он  
вдруг меня поразил:  
ведь не один эшелон  
раненых не привозил.  
Что б это означало?  
Но появиться — мог  
раненый до начала —  
этой войны Пролог.

Завтрак — скудная травка,  
каменная соль на столе.  
Майдан — темная давка.  
От войны навеселе.  
Означается водяная воронка —  
и позывает медленный край,  
глаже вода, нагибается пленка,  
натягивается — ныряя!  
Новобранец в пехотной роте,  
несравненное чувство о си  
в широчайшем круговороте —  
поверни, понеси!  
И с широкой Россией, Русью  
так свободно сви в а е т Грузию  
разразившаяся беда,  
как еще никогда.  
Близким заревом осветилась —  
крупно, с западной стороны, —  
непростая необходимость —  
участь гордой моей страны.

Но тогда, на пьяном базаре,  
в тыловые крайние дни  
эти мысли тебя, Отари,  
не тревожили, извини.  
Перепалка и перестрелка  
спекулянтов и торгашей,  
На руке у тебя — шинелька,  
и краснеешь ты до ушей.  
Поделом!

Ты пропьешь отцовский  
от гражданской войны доспех...  
Любопытно, что муки совести  
опережают грех.

Тыловые крайние дни.  
 Время, повремени.  
 Мне — письмо от Лолиты.  
 В суматохе целой страны  
 нам — одним — удели ты —  
 полной, т о й тишины —  
 изыщи, как хозяйственник, — слышишь?—  
 вечности полчаса,  
 голоса приглуши — и п о с т о й.  
 чтоб не слышал, как дышишь.

Из-за пазухи у Тбилиси  
 извлеки Ботанический сад.  
 Там, где иглы и листья  
 на сентябрьском солнце сквозят,  
 где в зеркальных каменных чашах  
 лилии цветут, —  
 там останутся несколько н а ш и х  
 минут —  
 никуда не уйдут.

Половина письма —  
 только буквы,  
 только смутные звуки.  
 По-грузински писала сама.  
 Руки  
 твои  
 бумаги касались,  
 и прикосновенья остались на ней.  
 Перечитываю — ясней,  
 где ты, что ты.  
 Живая, здоровая...

— Строим доты. Накаты метровые...  
 И по-русски: землянка? Земля?  
 Что-то там о т с ы р е л о  
 и, как студень, и ходит и вздрагивает  
 от обстрела.  
 — А сейчас — где тот час? —  
 передовая притихла,  
 можно жить.





...И себя не убил. Как — не знаю — пережилось.  
Повторяется все... Сомкнулся круг бытия.  
Ло-ли-ке-ла —  
на стыке четыре пары колес.  
Ло-ли-ке-ла —  
и с тем засыпаю я.

\*\*\*

Чуть за полдень. Солнце глядит косовато.  
Жара грозовая — надела и давит.  
И степь замерла. Сентября день двадцатый.  
...А под Ленинградом уже холодает.  
Уставились в небо зенитные пушки.  
Разъезд. Тишина и безветрия тягость.  
Оценим в полу деревянной теплушки  
каретником-мастером вбитые наков  
граненые гвозди — квадратные шляпки...  
Все косо идет.

И железно-наклонно  
те бомбы летят,  
как дрова...

Две охапки —  
и хватит для замершего эшелона.  
Такая погода... Сухое бесстрашие.  
А может, сегодняшнее настроенье?  
Но только двадцатого вышел в тираж я.  
Простите, запомнилось, как день рожденья.  
В степи потемневшей стальная тропинка.  
Состав — весь игрушечный — весь на ладони...

Баллада — о гибнущих без поединка,  
о смерти ненужной — о том эшелоне.  
Стоит он — стоит под парами — на месте,  
на всех тормозах — на пустынном разъезде.  
А встречный? Накрыли? Гори в поле чистом...  
А он остановлен — телеграфистом.  
Напутал диспетчер. На ближнем разъезде  
на всех тормозах — цепенеет, и к чести  
и к свету зеленому оба зывают  
и, с места не трогаясь, дико взывают.  
Ошибочка вышла — не доразуменье.  
На степь грозовое находит затмение.

Наверно, я выплакал лучшие слезы,  
что часто мирюсь с неизбежным и грустным,  
хотя и почетным присутствием прозы  
в стихе тяжелеющем.

Браво искусным,  
до гроба умеющим молодиться.  
Завидное дело — да мне не годится.  
Мне серок с походом, и я всем составом  
судьбой на больших жерновах перемолот,  
и рядом живет молодое со старым:  
я сызмала стар и на старости — молод...  
Природе обязан я — континентальной  
погодой такой — и верховному строю...  
Но четкостью близкой и четкостью дальней,  
быть может, я вас утомялю порою?  
Простите...

Как требуется уставом,  
мой мальчик подтянутый, молодцеватый,  
мечтает о бое — открытом и правом —  
а выпал ему — сентября день двадцатый.  
...И два эшелона томительно воют,  
и два эшелона друг друга не слышат,  
и туча подходит, и ветер травую —  
той белой травую — не движет, не движет...  
А свет — от земли... Не бывало бездонней,  
затем, что принять надлежит от пехоты  
сто жизней — непрожитых — вот, на ладони, —  
сто душ — или больше? — не знаю — я сотый...  
Крапленая белым зенитка — березка,  
воздетая к небу, — рожон чудотворный.  
Грозою пролившейся смоем известку —  
забелены доски открытой платформы.

Грозы проливается полная чаша,  
и молится в беглом отрывистом свете  
грузинская мать, попутчица наша.  
Пехотная рота — ей кровные дети —  
ей кровные дети  
по крови вечерней...  
Едина молитва о нас и о сыне,  
куда-то отправленном в тыл на леченье.  
Где тыл, где тот госпиталь? Нет и в помине.



и приходите за мной.  
...Долго свистел, пока не унялся,  
свисток опрокинутого паровоза.  
С первым голосом — не обнялся  
второй —  
для песни многоголосой.

\*\*\*

В ту смуту, в ту самую мрачную осень  
под утро, в каком-то последнем духане  
явилось — сквозь гомон и дымную просинь —  
как ствол — золотое, прямое дыханье.  
Какая-то сила его и зы м а л а  
и к небу вела из бесформенной плоти,  
и самого пьяного — подымала...  
...А мы — так и слышу, — как пели в той роте...  
Меж ровно ведущими голосами  
летят подголоски — косо и криво —  
куда их несет? — а не знают и сами...  
Все так! Не мешайте их розни счастливой!

Наутро тогда я увидел впервые,  
как нехотя, боком и словно хромая —  
пошли из ущелья стволы вековые —  
была там сосновая роща прямая...  
Знамение было: роща взбиралась...  
И двинулась с места поэма Лолиты,  
где целая жизнь озарилась под старость  
и набело вся была пережита,  
и смысл явился терпения страсти,  
и время кривое — от Первой до Первой...  
Тогда я отрекся от малого счастья,  
и двинулся к Ушбе вечерней.

\*\*\*

Контуженый однорукий солдат  
томится в одной из тяжелых палат.  
Лежит он — убитый без боя,  
святою досадой палимый —  
лежит — неживой — казнимый

той самую

казнь ю поко я...

Не спит и лежит молчаливо.

Задремлет — своим же разбуженный бредом,  
очнется... Но как прихотливо  
сбывается сказанное поэтом!

Он вычитал: ка з н ь ю п о к о я .

За что же — мальчишке — такое?

Расплата вперед? На случай наука?

Тирану назначена мука.

Тирану назначена мука

вполне справедливая, но, к сожалению,  
ж и в ы м и придуманная для живого,  
который тогда на Святой Елене,  
себя претерпев, превратился в святого  
и жил в золотых поэтических снах.

И видят — единого в трех именах —  
героя, тирана, святого...

Блуждание сердца, блуждание слова,  
блуждание в трех заповедных соснах.

Тяжелое днище, двойная вершина —

вся туча была обозрима

и двигалась, как поливная машина,  
садящимся солнцем багрима.

Тебя никогда не пугала гроза.

Погибнуть от молнии небесной? Нестрашно,  
ведь правда?

Прекрасно, и лучше нельзя.

Но мальчику грезился бой — рукопашный,

Как праздник маджари —

та д о б р а я злоба.

Сегодня, Отари,

твоя кээноба.

Вас двое — борцов

в поединке простом.

Вы друг перед другом —

не враг пред врагом.

Добро вам потешиться и поразмяться —

от этого крепче старинное братство.

Его возглашают за долгим столом,

его молодым поливают вином...

Тебя усыпляет старинная греза —  
а будит — железная, дикая проза:  
те бомбы пошли вперевалочку, зыбко —  
затем, что на линии вышла ошибка...  
И кончилась одурь наркоза.  
Ты умер, Отари,  
и надо родиться —  
д р у г о м у,  
а руку подвешат к плечу...  
— Не надо, — кричит, —

не хочу!..

— Послушайте, что он бормочет?

Чего он не хочет?

Он хочет не быть.

Сестра, принесите больному попить.

Коллега, вы видите Датского принца:

родиться — или не родиться?

Хочешь не хочешь, тебя мы — р о д и м

и на родину вы-про-во-дим.

И он замечает, что после обхода

немного смягчается злая погода.

Еще приходили, и были недели

сквозящим подернуты мраком —

но все же душа возвращалась — под знаком

Пушкина и Руставели.

Он слушает сводки, он книги читает,

а дальше читатели все уже знают:

воспитаны мы на хороших концах,

надежды благие мы носим в сердцах.

\*\*\*

Иду сквозь аллею. Иду сквозь аллею

распятий пустых и высоких.

Иду — не гляжу — и жалею

душевно убогих.

Сквозь толщу коры — сквозь щель

листок пробился: апрель...

Не видел работы — т о п о р н е й.

Очнутся деревья не скоро...

В земле задыхаются корни,

и камнем становится слово укора.

— Что, дерево? Ты одноруко?

Давай о свободе поговорим.  
Разумного тихого звука —  
я з н а ю, как хочется им.

— Переполненным кубком  
ты достоинь до мая...  
Пошевелило обрубок,  
все слова понимая.  
В оба устья кровило:  
ведь — и голову с плеч...  
А зерно хлорофилла  
надвое не рассечь.  
Этим уж — я проникся  
милостию судьбы —  
вылупился из гипса  
тягостной скорлупы.  
Благодарен — и боли  
и судьбу не корю,  
потому что о воле  
с деревом говорю.

Не спится. Свет вдалеке.  
Шоссе поворачивает у больницы,  
окно на мгновенье озарится —  
сдвинется веер на потолке —  
тронется колесо колесницы...  
не плачь о погибшей руке.

В Тбилиси в такой же больнице  
отец — от смерти на волоске,  
и мать к изголовью припала,  
где лампочка вместо свечи.  
Мгновенья судьба сосчитала.  
Стоят не у дела врачи.  
Летучее траурное покрывало —  
на тысячу верст  
над землю  
в январской ночи.

А женщина у изголовья —  
не мама, не мама — жена!  
Как молодостью, как любовью —  
ужасным присутствием поражена

и, боль в забытьи принимая за счастье,  
единое таинство смерти и страсти  
с любимым разделит она.

Забота моя  
светла и сурова:  
явление слова  
торжественного: жена —  
о святости полога и покрова.  
Январь сорок второго.  
Полная тишина.  
Ты слышишь: она же  
белейшим крылом шелестит,  
где небо родное блеснит  
в ботанической чаше —  
уже черноватое  
небо девятое,  
или седьмое.

Последней зимою  
изорванною каймою  
по белым, по синим снегам  
прошла оборона.  
Не грохот, не гам, —  
тишина.  
Ты слышишь: она.

Ложится снаряд,  
и глина дымится отвала,  
и тише еще никогда ничего не бывало.  
Живая земля  
подымается так неохотно,  
и жалко земле  
сияющего покрывала,  
и худо всей живности сонной,  
всей твари болотной,  
и тихо: так звук не доходит из-за перевала.

Вал огневой равнину наворачивает на себя —  
на себя наизнанку, сонную жизнь истребя.  
Будто ковер скатали.  
Пар земли откровенной.  
Бой как бой. Обыкновенный.



Не мешайте, д е т а л и.  
Иней мерцает в дыму.  
Видите — иней во прахе мерцает.  
Звук ни единый не пронизает  
некоторую кайму:  
пологом небо свисает —  
голубоватое с тьмою —  
девятое или седьмое.  
Красивые воскресают.  
Снегам конца че видать,  
и края им не видать.  
От Балтики — за Урал —  
чистейшая благодать!  
Полдень подслеповат.  
Полдень — или заря?  
Свет теперь красноват —  
сонный свет января.  
В сумерках — Ленинград,  
а напротив, во мгле —  
три светила подряд  
в Красном — Царском селе.  
Теплятся посреди  
заледенелых крон  
три свечи... Посвети  
словом, Галактион.  
Ты пророчил — светец  
и белые деревья.  
Кто это? Я, отец...  
Потому что жива...  
Связями всеми  
в разрыве горных пород  
обнажается время  
и сердце мрет.  
Древней крепि  
великолепье.  
Свой черед  
каждому из мгновений.  
Каждое — переживи.  
Не прекращается Гений  
Любви.

Тыловая весна.  
 На платформе — солдат однорукий.  
 Ветер южный, упругий,  
 с пашни свежей сдувает снега.  
 Сводки бодрые.  
 Невероятные слухи.  
 От Ростова — состав на Тбилиси,  
 и заново жизнь дорога.

Ничего ты не знаешь. Экран потолочный  
 ни единой заочной  
 картины тебе не явил.  
 Но потом это в узел затянется прочный —  
 не вздохнуть среди трех невозможных могил.  
 Ветер — мартовский, молодой. Стой зажмурясь.  
 Хорошо воевал ты. Это видно со стороны.  
 Эшелоны в степи порвели — и разминулись.  
 Долг — исполнил, нужду — утолил.  
 Ты — герой посредине войны...  
 Морячок из хинкальной окликнет тебя — узнает,  
 ну а ты его — нет.  
 Как же так? Выходили на Керчь,  
 он из боя тебя выносил — позабыл? Все бывает...  
 Память, значит, отшибло,  
 давай, горше пей, гуще перчь.

Может, вспомнишь теперь  
 и чего никогда не бывало.  
 Фронт о в и к — и соврешь — так не грех.  
 Приключениям нету конца...  
 Плохо, брат... Вдовье черное покрывало:  
 смерть одна на двоих — это мать на могиле отца.

Ну а сам — как живешь?  
 На отшибе... И смутно, и плохо.  
 На лице все написано,  
 и — не надо, беды не таи —  
 это тоже не доблесть...  
 Вышвырнула эпоха  
 неготовым к страданью  
 тебя на задворки свои.  
 Ты ни в тех и ни в сех,

не герой и не трус — недобиток...  
Смазан верный рисунок —  
под локоть толкнули судьбу.  
Принимай же  
всегдашний  
оглушительный  
жизни избыток...  
Сыну плохо живется —  
отцу не ложится в гробу.

Он приходит к тебе  
сквозь полуночное похмелье  
в одинокую комнату,  
где лежишь ты — неприбран, небрит, —  
укрывает колени твои  
тою пропитой ветхой шинелью,  
и о вере, и о доблести рода с тобой говорит.

Говорит, как всегда — сам себе,  
только трудно и глухо.  
А потом пропадает,  
и вместо него — в свой черед —  
в эту комнату голую  
та же приходит старуха:  
ищет, ищет по госпиталям,  
только сына никак не найдет.  
И бормочет,  
и по комнате узкой снует без присеста:  
заглянула под стол и под шкаф —  
никого. Никого.  
Это — комната сына.  
Сюда же приедет невеста.  
Я — вернулся с войны потом у,  
что убили — его...  
Я лежу, я терплю.  
И тогда, не касаясь грязного пола, —  
это раз навсегда и на все времена, —  
бред и хмель отменив,  
появляется Лола,  
светлая, вся родная,  
божьей милостию — жена.

Только  
траурная пелена  
притемнила снега Ленинграда.  
Только  
ветер ночей развеивает ее широко.  
Долго время отходит —  
и полнее и ярче утрата.  
Словно  
Ушба горит...  
Что же — близко?  
И что — далеко?

Лекция по истории.  
Не такая она — Жанна д'Арк.  
Жарко. Вон из аудитории —  
в зоопарк.  
Любопытствующего народа  
разморенный парад.  
Лев старинного рода —  
бессребреник, демократ.  
Золотое великолепье  
мыслящей головы...  
«За решеткой и цепью —  
не львы, а вы.  
Заперевший свободу  
не нюхал ее никогда...»  
Баснословные годы...  
Голова! Борода!  
Что? Беда?  
Кто-то крикнул.  
Женщина. Голубое лицо.  
Мне — сигнал.  
Раньше прыгнул,  
чем понял: кацо...  
На один только миг  
оказался проворнее рыси.  
И ребенок — вот, и Тбилиси  
рукоплещет: герой, фронтовик!..  
Девочку неловко держу,  
матери не отдаю.  
Сам испугался: гляжу  
как на дочку свою.  
Всем семейством — домой...  
Настораживаются львы.

А у матери — боже мой! —  
глаза твоей синевы,  
Лола...

Так я тебя искал,  
собирал по крупице,  
Что могло накопиться?  
Тоска.

\*\*\*

Тебя понимаю и слышу,  
в ладони как птицу зажав.  
Ну, тише...  
Взберемся повыше.  
Сухая ноябрьская ржавь.  
Ты видишь, Лолита...

— Я вижу.  
Ты бредишь, Отари. Оставь.  
Ты дожил до трезвых седин.  
Гора тебе стала трудна.  
Оставь, это явь: ты — один.  
Один, потому что он а...  
Так ветрено нынче, так ясно.  
Сизифово постоянство  
покоя тебе не дает.  
Но мертвое то пространство  
еще наверху — живет.  
Притихло, как бы уснуло,  
гора стара и сутула.  
Постояли — вперед.  
И вправду — живое.  
Видишь... И снова — двое.  
А дерево не листвою  
подвывая поет.  
Здесь, на самом краю  
д р е в о сторожевое.  
Хочешь ли, про него я  
песню тебе спою?

..... : :  
Было такое — или

снилось такое? Пили  
мы за дерево... С кем?  
Все не припомню — кто же?  
Очень близкий, похоже.  
Или родной? Боже,  
радости дай — всем.  
Я об отце и сыне,  
я о древе гордыни,  
я о самой святыне:  
все — живое отныне...  
Только боль утиши.  
Все обрати во благо.  
От последнего шага  
дерево удержи.

Что это? Это просто  
продолжение тоста.  
Осень, мой друг. Поздно,  
поздно иного желать.  
Каменисто и круто.  
Две ступени приюта.  
Как ты хорош — отсюда,  
город любимый. .  
Смута?  
Чудо. Все было — чудо...  
и благодать.

Прощаются грабы с листвою.  
Над Грузией холода.  
Из прожитого — ничего я  
не вычеркну никогда.  
А холод листву покорежил  
и входит он, душу знобя...  
Но кто-то очнулся и ожил  
в тебе —  
кто сильнее тебя!  
Кому ты себя уподобил...  
Ноябрь листву покоробил  
и только не сладил с плющом,  
которому все нипочем.  
Где вышли могучие плиты,  
ползучий — вцепился и влип.  
Ты видишь все это, Лолита...

— Я вижу.  
Никто не погиб.  
Любимые — не погибают.  
Крепка под ногами земля.  
Не так ли и нам подсадет —  
огонь возжигая и для  
святое мгновение жизни  
одно — до скончания лет...  
Все дальше — печальнейшей тризны,  
все ближе назначенный свет.  
А помнишь? В апреле — Самеба  
в последних цветах и снегу.  
У синего тихого неба  
стоим на крутом берегу?  
И туча плавучая — ровень —  
напротив стоит — в два горба,  
и чист горизонт и огромен,  
воздушный, как наша судьба.  
Самеба... Ах, нет, у Гагрипша.  
А то — не с тобой... С тобой!  
Слабеет мой голос охрипший.  
Пора возвращаться домой.  
...Пора уходить из дома.  
Первый свет бытия...  
Первым светом ведома  
жизнь моя.  
А что же — семья?  
Так и не было — кроме  
испанки на аэродроме.

\*\*\*

Оборонительные проходили бои.  
Очевидец мне попался на кончик пера.  
Красносельское направленье...  
И запевал: — А — и, —  
это после контузии.  
А — и, какая жара!  
А какая? Тридцать градусов в январе:  
серебрится весь изнутри блиндаж...  
— Телеграфист я... А — и, точка — тире.  
В доте восемнадцать человек — экипаж.  
Я один, восемнадцатый, уцелел.

Все они там, Лоликела, твоя жена.  
Окружили нас, капитан передать велел:  
принимаю огонь на себя — и хана...

Можжевельник шумит — маленький кипарис,  
и березки две перед амбразурой растут.  
Все, конечно, опять перепутал телеграфист.  
Это я восемнадцатый, это как раз тут.  
Уцелела ракита — вон та — северный пшат.  
Поле взрытое снежное видимо в перископ,  
и как лебеди белые — наши...

Лежат, лежат  
в полушубках неношенных —  
спят во веки веков.

А при нашем свидании преобразается свет.  
Я беру его на себя — потому что могу.  
Знает призванный: для такого — времени нет,  
как для тех, кто лег на ленинградском снегу.  
Я в Последней моей — Первую узнаю.  
Затаила дыханье, надолго ты замерла...

Воскресает любовь — я за это пью и встаю  
трезвый из-за стола.



БЕЛОЕ ПОЛЕ

Как легкий пепел, сон покрыл меня.

Спала

тень ветви на лице, и лиственное тело  
вitalo надо мной, а там, белым-бела,  
сияла твердь — как снег, как мысль и как хотела.

Я спал, но я хранил живительную связь  
сознания и сна — я странствовал по воле —  
и обогнула ветвь, витая и висясь,  
знакомый склон горы, белеющее поле...

Там помавает конь прекрасной головой —  
подобное в горах он вызовет движение,  
и песня разорвет предел голосовой...  
Но смерти нет вообще. А этой — нет блаженной!

Но где твое лицо? Я сплю? Я слеп?

Ужель,

ужель твое лицо мне перестало сниться?  
Я разрываю сон — так разрывает ель  
нагорий облака — и движется, и длится...

На камне — тень твоя. А ты?

Я одинок,

когда — меня — твое — обманывает имя:  
другую так зовут... А третья — мой порог  
стопами перейдет неслышными твоими...

За что... В чужой душе я только слеп и нищ,  
не помогают мне чужие утешенья.  
Не верю белизне, где бездны черный свист —  
и тонет в камне тень — плашмя и без движения.

## ЦЕЛЫЙ ГОД

Год исполняется — долгие были мгновенья  
времени цельного без передышек и льгот.  
Темного русла вонзаются в спину камня —  
стал я рекою. Терпенью исполнился год.

Взмучены воды, распластано тело потока.

Кто эта девочка —

там —

высоко —

на мосту?

Шла — обернулась в неясной тревоге.

И только

ты не идешь — и мгновение длится — и жду...

Жизнь пропадает, и берег пошел на обмылки —  
жду — не дышу — ни слезы — ни единой строки!  
Пейте за горе мое — бейте бутылки —  
бьется обида моя в мостовые быки!

Бьется душа — о незыблемое терпенье.  
Чья это воля воздвигнута, словно стена?  
Зыбкие небеса — в проплывающей пене.  
В заповедные области канувшая тишина.

Обморок длится — и трепет рождается сердечный!  
это любовь, это ты, это снится —

и вот

в зеркало мрака вошла... Удаляется млечный,  
целый, подобный планете, светящийся год.

## Т Е Н Ь

А что же впереди? Бог весть. Простор велик.  
И медленней мои шаги и тяжелее.  
Не окликай меня: оборотясь на миг,  
остановлюсь, припомню, пожалею...

Не окликай, молчи. До стога напряглась  
летящая стезя, светящаяся линия.

А страсти все мои — одна искупит страсть —  
последняя одна — клин вышибает клинья!

Невидящим лицом я принимаю свет,  
и тень моя за мной, упорствуя, влачится —  
влачится жизнь моя — так оставляет след,  
пятная кровью снег, подбитая волчица.

А что же позади? Собрание утрат  
и перечень грехов — какое изобилье!  
Как черный лебедь, грех печален и крылат.  
И ты, последний мой, ты расправляешь крылья.

Лети, лети, лети — на горестный восток.  
Какая это страсть так нехотя светает?  
Но крови всей моей не хватит на глоток,  
и слез моих земных на кубок не достанет.



Помни,  
откуда ты родом.  
Помнишь ли, где  
саженец прадеда укоренился?  
Ты не забыл  
жаркую грубую шерсть — материнскую пряжу?  
Стлевшее рубище, жалкие шлепанцы  
вымерших ныне святых?

О, поведай,  
свободный от предрассудков,  
о чем ты хлопчешь,  
зачем  
стягаешь стягаемое,  
кого влечет  
берлоги твоей изысканная прохлада,  
зачем гонишь птиц со своих черешен  
или ребенка, блуждающего в цветниках?  
Зачем тебе звуки  
строгих хоралов, ликующих гимнов?  
Вытащи их из ушей, наматывая на палсц.

Радуйся,  
ибо сегодня, сегодня, сегодня  
ты получаешь награду свою!

●

Светоносные сумерки, напряженный покой.  
Вспыхивают над лесом искры вешнего дня.  
Неизбывно сияние над мраморною рекой.  
Сталь топора срастается с мякотью пня.

Радуется кому-то — одному иль двоим —  
пылкой жизни комочек в камине или костре.  
Млечный Путь над опушкой — или стелется дым? —  
Ветер уснул на войлочном волокнистом ковре.

Вспыхивают светила — слепнут, замертво мчась,  
и царит равновесье в мирозданье сквозном:  
люди — хотя бы двое — в этот хотя бы час —  
любят друг друга в домике том лесном.

### ТРИ ГЛИНЯНЫХ ТАБЛИЦЫ

Борьба со смертью, универсальный сюжет и главная мысль этой поэмы, основана на **чувстве справедливости**. Из гроба поднимется достойный жить — его место займет недостойный. И так будет всегда — в назидание жизни, столь упрямой и посредственной ученице Прекрасного.

Чувство справедливости — чувство глубокое, разветвленное и требовательное. Им продиктованы и вольности этого перевода. Поэтические черты древнего героического эпоса послужили скупым антуражем задушевной поэмы нашего современника — Отара Чиладзе. Лирическая стихия — сильная, чувственная, но управляемая мыслью — возобладала над неявной лирикой безрассудного Гильгамеша, как бы подавила ее. Древний эпос оказался **предлогом** для современной поэмы. Мне же захотелось выявить их **причинную связь**.

Я стремился **дать волю Древней поэзии**, едва ли создаваемой ее творцами, томившейся веками в загадочных табличках, а теперь застрявшей в почтенных академических изданиях. Отар Чиладзе воспринял эту поэзию, но волю ее «узурпировал». Как волна, эта поэзия вынесла его на счастливый берег — а он и не замочился! Если б возможно было выйти из моря — и вынести море на себе...

Вот о чем я думал.

У меня заговорил Энкиду — но быстро, правда, умолк.

Заговорил Утнапиштим — и я еле сдержал речи истосковавшегося по людям старца, обреченного на бессмертье.

Вышел из глубокой тени заклинатель Син Леке Уннинни, достойный славы Гомера. Тот, кто диктовал ассирийскому жрецу сказания «О всевидящем», был гений.

Встали из праха четырнадцать храмов в Эриду — мне пришлось взгромоздить их как башню, потому что основание было одно. Зашевелились останки в кувшине погребенной строкозицы: **несправедлива** была ее смерть, и очень неудобно и долго пришлось бедняжке лежать. И так далее. **Льзя ль душе чинить препоны!**

Гильгамеш совершал свои подвиги, мужал, старел, думал — долгие годы.

Обратная связь времен, предосудительная в исторических сочинениях, но необходимо жизненная в поэтических, делала свое дело. Менялись мы — менялся «всевидящий». А мы менялись потому еще, кстати, что удивительная, потрясающая, доветхозаветная человечность — Намлулу — шла и шла к нам из первоначального эпоса! Так выходили когда-то на берег Шумера рыбы Оанна и учили людей быть людьми.

Гильгамеш мог осудить — и потому осудил свои героизма. Затем повинулся перед Энкиду — как живой перед мертвым. Повинулся перед блудницей Шумера, что-то сбивчивое наговорив о ее красоте и малодушии ее судей. Мотивы одного этого движения могли бы составить поэму. Почва для нее готова — та грузинская почва, в которой лежит прекрасная царь, повинившийся в чужих грехах.

Современный поэт признается:

**Легко быть зверем**

**И легко быть богом.**

**Быть человеком — это тяжело.**

К этому готов был Гильгамеш — но как раз тут и про-

пал: кончились глиняные таблички, числом 12. Царствовал он, по достоверным источникам, 129 лет, а полноценной художественной жизнью прожил едва ли 40.

В одном из вариантов перевода являлся эклинатель — возместить потерю — неясную кончину Гильгамеша — своего детища — образом смерти — уже своей. Но все же лучше предоставить это дело самому герою.

Что же смерть? Ее нет как таковой. Как действующего лица. Другая сила бережно несет в ночном небе светильник мысли. Другая!

I

Я Гильгамеш. Я имя. Лишь на треть  
я человек — и потому я умер,  
связав один конец с другим началом, —  
а на две трети бог. Такая смесь  
наделала беды родному царству...  
О девственницы мирного Урука!  
О жены! О безвинные мужья!..  
След богочеловека на земле  
подобен рваной ране.

Гиль-га-меш! —  
Я прожил столько жизней, сколько раз  
тревожил слух и гнал воображенье  
по книге страстной...  
Тронулся обвал,  
переворачиваются каменья  
и нехотя вздымаются на воздух  
и, об-ра-ща-я-ся, летят! Гора...  
Гора горизонтальна! — Что за шутки?  
Но каменный широкий ураган  
проносится по каменной пустыне —  
в котором времени? Припоминаю...

Но разве камень — камень? Хеттский бог  
однажды сочетался со скалою:  
скала восчувствовала божество  
и родила героя. Плодоносны  
и камни родины — припоминаю...  
Я Гильгамеш — я соткан из волокон

желанья жизни! Пусть на этих струнах  
играет ветер смерти на арфе!

Воздвиг я храмы Ану и Иштар.  
Бог неба и богиня сладострастья  
нисходят по уступам величавым  
в Урук ночной, и каждый бог — в свой час.  
Я долго жил, но строгая пора  
довольства жизнью и желанья смерти  
не суждена была мне.  
Бедный друг!..  
Скорбь об Энкиду милом привела  
меня к нему. К нему я поспешил,  
страстей исполненный и страха смерти,  
едва дожив до совести моей  
безмерной...

Друг мой, стали воскресать  
убитые... Все подвиги мои  
нелепы и бесславны изначально.  
Энкиду, помнишь, мы убили стража  
священных кедров? Мы его убили —  
покорного, предавшегося нам,  
и умерла сияющая тайна  
семи лучей Хувавы! Друг Энкиду,  
над жалостью моей ты насмеялся —  
ведь ты был полузверь и полубог.  
Всема мать благодатная Аруру  
онагра сочетала с антилопой,  
новорожденного перелепила,  
добавив красной глины. Мой Энкиду,  
ты был очеловечен страстью Шамхат,  
ты был очеловечен дружбой нашей —  
вот подвиг, если уж на то пошло...  
Ты спал в лесу сном зверя. И тогда  
послал я женщину к тебе — ты знаешь,  
я сам послал — и приняла она  
твое, Энкиду, красное дыханье  
и отдала прозрачное свое,  
подобное дыханию Евфрата...

— Я спал в лесу сном зверя. Легкий звон  
я угадал — услышал: золотые  
свои подвески обронила Шамхат.

Туника пестрой бабочкой вспорхнула,  
и словно в камне млечном потонули  
мои глаза. Сон переходит в сон...

Семь дней и семь ночей минуло так,  
и стал он слаб и ясен, как дитя,  
а Шамхат принесла вина и хлеба...  
Прости меня, о женщина из женщин!  
Не в Вавилоне, а еще в Уруке  
втоптали в грязь и прокляли тебя;  
для малодушия — невыносима  
свободная и дерзкая краса...  
В онагров, похотливых и свирепых,  
ты превращала их... Прости — меня.

Второй... Седьмой... И храм взнесен на храм.  
В Эриду цело все и невредимо.  
Четырнадцатый! — вровень облакам,  
где плавает ладья Утнапиштима.  
Картина строгая, но это лишь  
простая стратиграмма до потопа.  
Так, мастер. Как построишь — просмолишь —  
летит и долетает до потомка.

Былое — будет. Снова? До конца?  
Зеркальную симметрию — разбейте!  
А город мой по-ша-ты-ва-ет-ся  
в моем столетье, словно в Эль-Обейде.

Кренится дерево, дрожат дома —  
живет преданье и глядит наружу...  
Чтоб горожане не сошли с ума,  
пророчество — пророчеством разрушу.

Не вижу смерти — не увижу впредь! —  
иначе — для чего мои глаза мне? —  
сквозь этот камень — на тебя смотреть,  
следить движенье — в непроглядном камне.

Но демон смерти — пролетел Намтар —  
я чувствую — вдыхаю воздух черствый...  
Храни завет один — как лучший дар:  
не уклони главы — противоборствуй!



Сегодня жарко. Воздух груб с утра,  
и держит азиатская жара  
мой город, словно глиняную куклу  
ладони каменные гончара.

Потрескались они, кровоточат,  
но понимают малую крупцу...  
Гляжу на белый зной, на сизый чад  
и на расплавленную черепицу.

Снуют рабочие перед окном:  
там промелькнула весело и дерзко —  
которая? — об имени одном —  
белмо в глазу — белеет занавеска.

Опять она? Как много тут сошлось...  
Кого? Рабочих? Промочить бы горло...

Мгновение

свободы

пронеслось

над крышей,

над жаровней

города!

Мгновенье... Мостовая потекла —  
бульжника скользящее движение  
волною добежало до угла —  
и замерло без продолженья.

Ушли рабочие — она идет  
походкой той же — медленнолетящей.  
Платанов тень поклоны ей кладет,  
и тени вовсе нет — при ней, светящей.

Она вступает в город как река —  
роняет, увлекает и колеблет  
деревья, провода и облака,  
себя увидит — у витрины медлит...

И мост — потом, и пережат — потом —  
пропала — стала ни при чем девица,  
которая идет своим путем,  
река — своим, и зрение ветвится —

и гладь и серебро на ветерке,  
обрыв и угол — каменная книга...  
Никак — спина в намокшем пиджаке?  
Плывет ничком какой-то горемыка.

Ты виноват: ты сглазил, Гильгамеш!  
Сквозь стену, говорит, я видел трупы —  
и плыли... Тут лагуна или брешь  
и древние мотивировки скупы.

Что помнишь, взбаламученный Евфрат?  
Бредешь, бредешь, как лошадь ломовая,  
и сбрасываешь кладь у южных врат,  
тесня залив и плавни намывая.

А иногда, уразумев состав  
живого каменеющего ила,  
прочь уходил ты, русло опростав...  
Потом вода всю землю затопила,

как божий гнев! А там, в голубизне —  
пределы Абзу — внешняя пучина...  
Все было обусловлено извне —  
и здешняя избыточна причина.

...Страх миновал — он разбудил меня,  
а к жизни мука обратила. Мука.  
Тогда же смерть загнал я как коня  
во дни мои — во времена Урука.

Два победителя: я и она —  
и все поэтому возобновится.  
Опоминаясь тихо ото сна,  
дохнет на зеркальце отроковица.

Несправедливо это — столько лет  
так корчиться в кувшине погребальном!  
Дыши, дыши... Иначе смысла нет  
в таком существованье моментальном.

И в кость взойдет живая ломота,  
и что-то дрогнет в глиняной утробе...

Назавтра песней станет немота  
и в стену ляжет старое надгробье!

Нежнее, чем цветочная пыльца,  
налет на камне — красноватой ткани —  
цветет — и вос-ста-нав-ли-ва-ет-ся,  
и дно влажнеет в глиняном стакане.

А те — вдали — курганы городов —  
восхолмья девственные Ниневи...  
Где родина? Где корень — род родов —  
возрос и вырван — грубо и впервые?

Благословенна тайна лучших снов.  
Не обижайте Золушку Творенья.  
Грех — жертвоприношение слонов.  
Грех — малодушье, словоговоренье.

И страх и смерть — далеко позади...  
И нынче камни города святые  
лежат прекрасно на моей груди,  
чуть теплые и солнцем залитые.

## 2

Все говорят, что счастлив Утнапиштим,  
которому даровано бессмертье.  
Он был бы счастлив, если б получил  
и дар беспамятства. И дар — не видеть  
произрастанья пышного хамитов.

Он был бы счастлив — просто умереть.  
Но этого (мы несколько вернулись)  
не может знать несчастный Гильгамеш.  
Энкиду нет. И он слепил из глины  
Энкиду-куклу и над куклой плачет,  
на камне сидя в грозной львиной шкуре...  
А день кончается, и он заснет  
сейчас — наплакавшись — в обнимку с куклой...

Утнапиштима он нашел в стране  
Восточных врат — встречающего утро  
и праздно плавающего в челне  
среди озера.

— Что есть бессмертье? — Скорбь, —  
ответил мудрый. — За хребтом Элама  
не различаю города родного,  
и времена смешались для меня.  
Всегда кричит Инанна над водою...  
Инанна — имя, а Иштар — другая,  
и неотвязно в тишине бессмертья  
я слышу крик Инанны — так кричит  
измученная только роженица,  
рождающая мертвое дитя.  
Завыла — слышишь? Люди так не воют —  
Инанна обращается в Иштар...  
А ты идешь из-за семи хребтов.  
Изодрана твоя одежда. Свет  
и темнота на скулах проступили,  
и очи углубились. Гильгамеш,  
будь мудрым: не переживи себя  
и не переживи Урука... Снова  
Инанны вопль несется над водою!  
Инанны город... Если суждено  
ему погибнуть — с ним погибни ты.  
Да лягут теплые родные камни  
тебе на грудь — и под ноги потомкам.

Вершит жара свой грубый произвол,  
течет асфальт, и в бездыханном сквере  
судеб таблицу уронив в подол,  
в пространство смотрит дева Белет-Цери.

Гляди, свидетельница дел земных,  
как плодоносен сизый ил Евфрата  
и мысль растет во временах иных —  
как за Курой восхолмье зиккурата.

А облик Шамхат снова не решен.  
Та, в черном, не она ли, посмотрите...  
И кто-то правит вновь карандашом,  
что высечено мною в диорите.

А я в тени стены — как тень в стене —  
распластанный и пригвожденный. Эа

секрет спасенья открывает мне  
от неизбежного Суда и Гнева...

Не надо. Вместе с этой стеной  
и городом моим — стою и рухну.  
Нас обнимает перевозданный зной  
и держит, будто глиняную куклу.

Горит над перекрестком львиный глаз,  
и душно и знакомо пахнет битум.  
Когда бы ты пришла и назвалась  
тем именем, тем звуком позабытым!

Единый он — иное воплотит —  
я верю созидательному гулу —  
и душу страждущую обратит  
к забытой человечности — Намлуду...

Я человек — и налегли века  
на сердце мне — всей памятью — всей кладью!  
...Как в пропасть рвется белая река,  
так рвешься ты из траурного платья!

Блажен и тих исход седьмого дня —  
исполнилось. И умолкает слово.  
Энкиду, бедный зверь, прости меня:  
я человек. Прости меня — живого.

Прости, что я не волен заглушить  
ни страсть, ни мысль. А мысль — это совесть.  
Прекрасно все. Я перестану жить,  
убогой клинописью обособясь.

Не удивляйся: с некоторых пор  
я прежнего не понимаю страха.  
Горит и разгорается костер  
от ветра, налетевшего из мрака.

...Я шел к Утнапиштиму, а в горах  
туман и ветер, ночь и страх гнетущий.  
Огонь увидев, я подумал: прах!  
Но это был огонь — ночлег пастуший.

Меня позвали. Важный разговор  
не прерывался: что такое благо...  
Тот, кто был мертв, был смел как ветер гор  
и сердцем благороден как собака.

Один пастух сказал: он прост как нож.  
Другой пастух сказал: он проще соли.  
И первый — мне: что было, ты поймешь  
не силой разума — но силой боли.

Вот благо... Только не пережила  
его — жена. Сгорела в три недели.  
Я понял это — силою тепла  
и силой слова... Сумерки редели...

Да, Гильгамеш... А ты — где опочил?  
В неведомых скитаниях? В Уруке?  
Тебе я душу перепоручил  
и взял твою, мой бедный, на поруки.

Всю жизнь, как дрессированных зверей,  
я к боли приучал родные мысли.  
Как проходил ты через семь дверей?  
Что в землю нес — в последний дар от жизни?

Как ложа пышные менял Евфрат —  
судьбе твоей сопутствовал апокриф.  
Сказанья переписаны стократ,  
и нужен тебе друг, а не биограф.

И где бессильны строгие умы,  
там хороши печальные приметы —  
есть вакуум забвения и тьмы,  
и он сильнее памяти и света.

### 3

Сын Лугалбанды-пастуха и Нинсун,  
богини златокосой,  
Гильгамеш,  
я дважды жил до старости. И первой  
я не утратил памяти. Она,  
как сон, меня окутывала въяве,

плыла навстречу — облаком... Свой путь  
я волен был оставить — где легла  
тьень сожаленья, где беда стояла...

О вымысла и были два крыла  
расправленных и неприкосновенных!

Нет, не оставил я моей дороги  
и — след во след — бывшее повторил.  
И вот где чудо: памятный путь,  
так повторявшийся — преображался!  
— Эй, Гильгамеш, мы кедр убили! — вдруг  
знакомый возглас отдавался в сердце  
протяжным удесятёренным эхом...  
Убили дерево... Энкиду, слышу,  
чьего никто не слышит...

Дар тяжел  
твой, Утнапиштим, — жизнь моя вторая.  
И повторяю: дар благословен.  
Не оскорби судьбы и не покинь  
судьбы. Не поступишь — ни тем, что было,  
ни тем, что есть. Не уклони главы...  
А счастьем — дай свободу. Слышишь ты:  
кричит так резко — как морская птица —  
и отлетает — сорванное платье...  
И самой первой мыслью, что приходит  
в сознание чистое, — не поступишь.  
Вцепись зубами... нет... но все равно  
держи — как бабочку — улыбку Шамхат,  
и, как свечу, храни от ветра!  
Горы  
не поступаются прямым пространством,  
поставленным на жесткое ребро,  
ты это видишь... Клинописью неба  
написана история моя.

От царства,  
от бессмертья,  
от скитаний —  
я отказался в свой черед. В Урук  
вернулся я прекрасной ночью. Смерть  
моя — в воротах города стояла —  
и я вошел, не поклонившись ей.

На башне храма Ану в звездный час  
я должен видеть созиданье ночи,  
когда, переливаясь и лучась,  
судьба моя — звезда глядит мне в очи.

Инанна — гений мой. Мои слова  
заканчиваются. Иштар — другая!  
На губы, теплящиеся едва,  
скрещенные ладони налагаю.

Внизу — крива, как черная луна, —  
едва отброшенная тень святыни.  
Не будет смерти: свяжет и м е н а  
волхв-заклинатель Син Леке Уннинни.

Он продиктует эти письма, мена,  
мое дыхание задержит в глине...  
Как ночи кубок, жизнь моя полна!  
И ныне  
соединяются два бытия —  
ступени храма и ступени выси.  
Неведомая, ка-мне-ла-па-я —  
уносит — бережно — светильник мысли...





Недостижимостью святою  
Одною только дорожу —  
Отнюдь не жизньню пустою,  
Где места я не нахожу.

Но кто ты, мой далекий Гений?  
Душа тебе обречена,  
И между счастья и мучений  
Не знает разницы она.

Так полнится живое море  
Слезой горчайшею одною —  
И тлеет в сумрачном затворе  
Весь свет — небесный и земной.

1908

#### ЦАМЕБА

Играет кудрями ветерок,  
Дышит легко прибой.  
В море на камне стоит пророк  
Мечтательно-голубой.

Покорная труженица-волна  
Юноше говорит:  
— Пускай гордыня твоя сильна —  
Судьба тебя покорит.

А юноша говорит волне:  
— Трудись, волна, без конца —  
Как ровный огонь в моей глубине —  
От пламенника творца.

Правит гений песни моей —  
Послушной моей судьбой.  
И ты притихла среди камней:  
Я — говорю — с тобой.

И юношу спрашивает волна:  
— Откуда сила твоя?  
— Цамеба — мука моя — дана  
Мне. И мука — твоя.

1909

### ВОЛЯ

Рыдайте, избранники божьего гнева,  
Невинный Адам, негорочная Ева!

Бегите, бегите родного чертога!  
И гневом Его — воспалится дорога!

Остался губитель и прячется в кущи —  
Чешуйчатокольчатоскоротекущий...

Кропите дорогу рыданием и плачем  
Под гневом неправым, под гневом незрячим.

Здесь камни текучи и дерево шатко...  
И все Ему — воля! И мечь Ему — сладка.

1911

### ЭДГАР — ТРЕТИЙ

Знакомые до сладкой муки  
Наш сельский храм, ущелье, бор.  
Бьет колокол — ложатся звуки  
Блаженные — к стопам Линор.

Идем к вечерне. В отдаленье  
Стесненная шумит река.

К тебе, Линор, мои моления:  
Ты, близкая — так далека!

И что же? словно бы разорван  
Весь золотистый небосвод!  
И с нами — третий. Это ворон.  
Он Эдгаром себя зовет.

Бог знает, по какому праву  
Он здесь. Но мы должны молчать.  
Все вместе мы идем ко храму,  
И страшная на всем печать...

1915



Он разорвал кольцо поруки  
И — гневный — в полночь изо дня  
Шагнул — один — скрестивши руки  
И лоб горящий наклона.

Глухой и буйный, как Бетховен,  
Он проклинал бога —  
но ему  
Лишь одному и был подобен,  
Когда сквозь ветер шел и тьму.

И поднимаясь в гору, долго,  
Свой траурный он создал марш,  
И бесконечно и полого  
Рас под ногами горный кряж...

1915

#### ОСЕННЕЕ УТРО

Дождь — листвою.  
В ночь — город вылинял —

Стояли золотые дни —  
И холод краски мира выровнял —  
И видима душа:  
Дохни!

Все голубое — твердо-матово:  
То изморозь в голубизне.  
А ветер налетел с Мадатова —  
Как смерть —  
И как любовь —  
Извне!

А утро блеклое, нераннее —  
Неверны желтизна и синь.  
В природе —  
Воля умирания.  
Во всем — Поэзия.  
Амины!

1916



Тот нежный юноша-мечтатель  
Погиб по милости молвы.  
Теперь я не страшусь, читатель,  
Ни бога, ни греха, увы...

Но я гнушаюсь вкусом крови,  
Чем оскорбляю общий лад.  
И гибели, как послесловья,  
Не я хочу — они хотят.

Всеолимпийским безразличием  
К заботам их душа полна.  
Но этого нельзя постичь им  
Во все века и времена.

1916

## ПОВТОРЕНИЕ

Сугроб нарциссов и фиалок,  
И гроздь глицинии вслепую  
Свисает с почернелых балок,  
Где пуля попадала в пулю.

А тополек стоит на страже  
Ресниц твоих и занавесок,  
И тем острее — идея кражи,  
И тем мрачнее — крыла черкесок!

И прячут голубые лица  
Наемные невестокрады.  
А кровь, не вольная пролиться,  
Исходит розами ограды.

И льется линия Ширази  
Вдоль тополиной вертикали...  
Да сохранят тебя от сглаза!  
Но сохранят тебя едва ли...

Смоковница укоренилась  
В библейском кирпиче железном,  
И неизбежна божья милость  
На одиноком и болезном.

Первоначальные восторги  
Обвалу холода подобны!  
А Очи Дремлющие зорки  
И памятьливы и подробны.

С тем пропадает середина  
И дышит эпилог в романе,  
И постепенно и едино  
Все тонет в ветре и тумане —

Балкон и милые ступени,  
И тополь твой праздностоящий...  
Все поравняет снег забвенья —  
Снег более чем настоящий.

Но как мучительно и тонко  
Уходит бытие и рвется!

Дано мне сердце олененка!  
Дано мне сердце ратоборца!

Воскресни — говорю — воскресни,  
Живи, оазис Ортачала —  
И слезы — и весна — и песни —  
И — все — иначе — и сначала!

1916

#### ТОСТ ЗА ТЕБЯ

Как этот странный господин  
В зеркальной пропасти овала —  
Вхожу в кафе — совсем один —  
И наполняю два бокала.

А вещи стали нетверды,  
И сонм их плавен и прозрачен.  
Пью за тебя, Алаверды!  
А скрипка отвечает плачем.

Я жду — и ты заговоришь,  
И в мир душа моя вернется.  
Но все колеблется — и лишь  
Бокал стоит, не шелохнется.

Откликнись, где ты? Никого  
В пространстве, лишь тобою полным, —  
И это время таково  
И отдано блаженным волнам.

1916

#### ПРОДОЛЖЕНИЕ

Спускалась осень от Гомбори  
И затаив дыханье,  
вброд

Янтарное переходила море.  
Лист реял, и не падал плод.

Сомкнутся нежные объятия.  
На дне воздушном, в глубине  
Сегодня осужден стоять я.  
Минует век —  
сойди ко мне

Одна...

О нет — нас вечно трое,  
И ревность поднимает нож...  
Любовь осталась без героя.  
Но ты меня не упрекнешь.

Я отвернулся — чтобы в спину...  
Удара ждал — как жду любви.  
В янтарную мою долину  
Ты не спеши — живи, живи...

1916

#### ЛАКМЕ

Голос увожу из хора.  
Это дерзость? Извините.  
Только вся моя опора —  
Об одной скрипичной нити.

Извлекаю — как из пира —  
Зыбкий звон хрустально-синий —  
Из громоздкого клавира —  
Только душу героини.

Свет луны и двор бездонный  
В духе смутного Карьера.  
Желтый сумрак заоконный,  
Свечка, очерк интерьеря...

Наизнанку и наружу —  
Эта комнатка в мансарде.





Ты возбудил прогресс — тебя несет  
Новорожденная стихия!

Не жалуйся на время — и потерь  
Не числи. Адским пламенем и паром  
В младенчестве ты обдан. Что ж — поверь,  
Что с дьяволом спознался ты недаром,

И все недаром, и утраты — впрок,  
И красное и белое каленье —  
Чтобы когда-нибудь ты превозмог  
Позор и ужас самоистребленья.

1917

### **В ТЕНИ МТАЦМИНДЫ**

Это с миром прощается окровавленное светило,  
Тенью Горы Священной город мой осеня.  
Тени цветут — мерещатся мне звериные рыла —  
Порождение черного и бесстыдного дня.

Тьма расцветает роскошно — хризантемою траурной.  
Поспешите, ценители, любоваться и обонять!  
Невозможное зрелище — совесть земли отравленной:  
Ни унять — ни насытить — ни убить — ни обнять!

Лето 1917

### **ВЫМПЕЛ ПОЭЗИИ**

Что мне надо, баловню, на свете?  
Просто так я закидываю сети,  
Я у рыбки золотой ничего не прошу —  
Отпущу на волю,  
Сети отрушу.

Что мне сети или хитрые удочки?  
Мне довольно и глиняной дудочки,

Чтобы странница Психея  
На камне морском  
Расцвела голубым цветком.

А другая — лиловая — Сирена:  
— Все прекрасно, все блаженно, все бrenно...  
И в душе моей  
Губительные сея семена,  
Все мирит и равняет она.

На краю земли и моря и рая  
Обитаю — блаженно умираю —  
И поэтому, наверно, никогда не умру.  
Яхта белая кренится на ветру.

На камнях чернокожих и соленых  
Я ведь тоже — лепесток — совсем зеленый!  
Только лепет или клевет мне гортань холодит—  
Оттого что бьется выпел  
И лепечет — и летит!

1918, Одесса

#### ОФОРТ

Над лесом пустым проходя невысоко,  
На эти снега, где живу одиноко,  
Всю зиму косилось тяжелое око  
Синюшного, сиднем сидящего бога.

Зима, вы глядели, как дремлющий рок.  
Окружие леса — прощальный веноч,  
Повергнутый у алебастровых ног.  
На радостях полоз визжит, как щенок.

И — тему повел, как моцартова флейта —  
Красавицу душ спасем от погонь! —  
И — вихрь серебристый нескромного шлейфа  
Лицо обдает, будто влажный огонь.

Широко летят снеговые разливы,  
Что были недвижны и так молчаливы,

И вишеньем белым заиневший куст  
Расцвел от дыханья неведомых уст.

Все сказка и слезы — и только под вечер  
Дымы над деревнею — будто бы свечи.  
Румянами инея лик твой расцвечен  
И тмится, и меркнет — далече, далече...

1918, Царское село

### МИРОВЫЕ БУРИ

Что мы именуем так пышно..:

А это —

Легчайшие прикосновенья богини:  
Гармония тайная мир поверяет.  
За все

я спокоен —

и бунту подобно

Спокойствие духа в миру помраченном,  
И ясность

людей о себе соблазняет.

Но солнце восходит. И — солнце за солнцем —  
Над миром идут чередою свободной:  
Они же не знали цепи арестантской,  
Того вожделенного звона и блеска..  
И ты будь свободен, как шествие это:  
С тобой говорила Гармония-дева.

1918

### НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В ПЕТРОГРАДЕ

Метель!

Изменит слово — глаз не выдаст.

К Неве от Исаакьевских колонн,

Колеблясь, шел пирамидальный слон

Сквозь призрачную взвихренность и взвитость.

Затем

Серебряная пальма Неине,  
Едва ступив на черный гололед,  
Вальсировала — ветви наотлет —  
Я позавидовал кому-то — втайне.

Лиловая клубящаяся мгла,  
Муаром отливая и атласом,  
Над городом — клянусь вот этим глазом —  
Летит, срываясь с древка помела!

Свистит и рвется надвое атлас:  
Шпиль? Коготь? Коготический палас?  
Ну, вьюга! Все на воле — каково им?  
Загнем за угол, постоим, повоем —  
Изменит слово — горло не предаст.

Там,  
Во главе всего —  
Крючок басовый.  
Там Ладоги просторные меха,  
И дышит города орган суровый  
Дыханьем петербургского стиха,  
Послушным геометрии Петровой.

Знакомый горький иней на губах.  
Простоволосая, о чем ты, ива?  
Уже враждуют мертвецы в гробах —  
Безмерна грусть твоя и сиротлива.

Как море перехвачено проливами,  
Так кольцами бессонниц — эти дни.  
О если б мог я плакать с вами, ивами,  
Молиться мог:  
Спаси и сохрани...

Идущий с миром — явится с мечом.  
О скрипка ивы над моим плечом!

Спасите!!  
Протащите сквозь теснину!  
Всегда найдется дюжий костолом.

Куда же я? Сойду с ума и сгину  
С моим самодержавным ремеслом.

Меня равнина тянет —  
С ветром свиться.

Судьба, я дважды угодил родиться:  
Здесь,  
В эту ночь,  
В ноябрьскую метель —  
И там, в раю, за тридевять земель.

Что ж —  
На исходе двадцати шести  
И я прочел бы моего «Пророка» —  
Да некому... О господи, прости  
Галактиона — вот еще морока!  
Порвал на ленточки: лети, лети!

Я стар, как старый шут.  
Мне одиноко.

Наутро шелестел молитвослов.  
Горела в Лавре тихая лампада.  
Я не забуду звон колоколов,  
Как били их об камни Петрограда.

Чхеидзе досточтимый, Церетели,  
Вас унесло неведомо куда.  
Когда над площадью взошла звезда,  
Я спал в снегу:  
Тепло, как в колыбели!

Я разорвал последнее кольцо,  
Когда топтала пьянь жестянки нищих  
С тем вдохновеньем на одно лицо,  
С тем оттопыром в рыжих голенищах...

Я к паперти их припечатал:  
Тавры!  
Потом стоял и плакал в первый раз —  
За них за всех — не ведавших — молясь.  
В огне, в слезах раскачивалась Лавра.

...Следил на камне росчерки метели —  
Движенье оживало без труда.  
Потом запели: горе не беда —  
Помолодели и похорошели.

Забуду ли когда?  
Я был им — брат.  
Мы родились... Мы понимали — волю  
С костром и кипятком и хлебом-солью,  
С звездой ноябрьской в 27 карат —  
Благословеньем нашему застолью.

Расплакался младенец — за него  
Перепугался: не помри с натуги...  
Однако раздышался, ничего...  
Но это в поезде, там, у Калуги.

И думал я: мне больше не распеться...  
И были помыслы мои чисты:  
Пусть себе обойму в сердце —  
Иль продавать  
Лиловые цветы.

1918

### К СВОБОДЕ

Когда ты послала на казнь Робеспьера,  
Улыбкой кривой улыбнулась Химера.

Он шел, чтобы кончить то самое дело,  
Что в нем завершилось и окаменело.

Туда — сквозь толпу — к эшафоту — к началу —  
Как мастер безумный, как мастер усталый.

И площади всей барабанную шкуру,  
Взойдя на помост, оглядел он понуро.

Скопленье живого подвижного люда  
Опять справедливости жаждало люто

И воли — из рук самого фараона,  
То бишь императора Хамелеона.

Превышена, мастер, возмездия мера,  
И тянется власть и зевает Химера

На фризе старинном, где время клубится.  
О бедная дева, о самоубийца!

1918

### НА ПЛОЩАДИ

Шут на площади,  
Где твоя нищяя труппа?  
Выпал птенец из гнезда — рот разевает —  
Белая ниточка треплется — крик одинокий...  
Брось балалайку —  
Не видишь — колышется площадь под нами?!  
Еле ноги уносит пустынный босой — его  
Пуля-пчела догоняет —  
И так в переулок загнули.  
А вон бежит барабанчик и костью берцовою машет,  
И барабан сам собою  
Трепещет, трепещет, трепещет.  
А вон бежит и визжит — убегает мяжник —  
Так от него убегал недорезанный боров.  
Площадь колышет Алкея.  
В его челноке — я.  
— О госпожа, госпожа! —  
Госпожу догоняет служанка.  
— Деньги мои! —  
Врассыпную  
      всех  
          догоняет  
                  торгаш —  
Десятью десять пальцев широко растопырил...  
— Кто тут бубнит и чья тут посудина? —  
Интересуется некто.  
Отвечать ему некогда.  
Пусто на площади вмиг.

Выпуклая брусчатка.  
Блещет теперь янтарями початка.  
Я опускаю прозрачное веко,  
Чтобы кругом разлилось ханаанское млеко.  
Посланы мне  
Праздник и бедствие —  
Бредни мои наяву.  
С красным полотнищем узкое шествие  
Двигается через Москву.  
Были записаны в книгах великих  
Соединившие разноязыких  
Неслышанные слова:  
БЛИЖНИЕ — БРАТЬЯ — БРАТИШКИ — БРАТВА!

1918

#### ПИРИМЗЕ<sup>1</sup>

Ту анфиладу белых зал  
Возвысил зодчий и связал —  
И — взмыла к небесам — единой  
Станицей белой лебединой!  
На щебне процветает мох,  
И место забывает бог,  
И мне бы вспоминать не надо...  
Луна встает — и колоннада  
Подъемлется кругом палат,  
Где свет, где призраки баллад.  
И полон свежести фиалок  
Возвышенности катафалк:  
Веков понурые волы  
По плечи средь молочной мглы...

О свет луны в начале мая!  
О нежных призраков Самая!  
Безмолвье — осторожный звук —  
Жемчужной тувельки каблук...  
Непостижимая утрата:  
Былое хороню как брата,

---

<sup>1</sup> Пиримзе — солнцеликая (груз.).



И память — пытка для меня  
До бледного начала дня.  
Сухие выжженные склоны,  
Обломок розовой колонны.  
Разрублен сад на два куска  
Родными братьями...

До июня 1919

### довин-довли

Так пером блаженно водит  
Ангел третьего завета,  
Ибо женщина выходит  
На дворцовый лед паркета.

Прочь отброшено введение  
Книги путаной и странной  
Ради этого мгновенья  
Красоты обетованной!

Дай блаженному грузину  
Опрокинуть возле трона  
Всю цветочную корзину  
Золотого Трианона!

Это грезилось в картинных  
Галереях сей столицы,  
В глубине зеркал старинных  
Собиралось по крупнице...

Боже мой, какая мука,  
Блажь какая и блаженство —  
Изваять — увы — из звука  
Вас, о Ваше Совершенство!

Неустанно, неустанно  
Возношу хвалы Киприде.  
Как версальские фонтаны  
Подражают Вам — смотрите!

Довин-довли...  
Дева, дева,  
Поглядите-ка налево...

Над грядой дубов и пиний,  
Над дорожкой райской, синей —  
Полуночный ветер горный,  
Иссиня-седой и черный —  
Конь летит — по коже иней —  
Гость незванный, призрак вздорный...

И к чему такая спешность?  
О, зажмурьтесь, Ваша Нежность!

Это слезы? Не годится —  
И давайте «Довин-Довли»  
Я спою Вам — я ведь птица —  
Не люблю я птицеловли!

Довин-довли, довин-довли!

1919

●  
Луна чиста до белого каленья,  
И свет пульсирует как бы висок.  
Стоят деревья, преломив колени,  
И тени чертят голубой песок.

Сегодня амфоры времен разбиты  
И полон призраков дворцовый парк.  
Сыны земли скользят, как селениты,  
Из голубого света в сизый мрак.

Войска — знамена — тело на лафете...  
И пусто. Женщина стоит — одна —  
Как бы душа последняя на свете,  
И милосердие и тишина.

— О дни мои!.. — Но замирают пени,  
И слезы светятся — и созданы

Сердца прекрасные во искупление  
Непоправимой роковой вины.

1919



Вино туманно-голубое,  
Шопена гордая молитва,  
Колеблемая над резьбою  
Чернофигурного пюпитра.

Пока мнутся  
Паганини  
Неистовые заклинанья,  
Стоят — листа не проронили —  
Осинники над Алазанью.

Порыв мятежный и высокий  
Равнине той себя вверяет,  
И шелестение осоки  
Все страсти умиротворяет.

Отчизна песни не отвергнет,  
А слезы непроизносимы.  
Как пламя, вспыхивая, меркнет  
В ресницах Алазани синей!

1919

#### МОЛИТВЫ РАДИ

Облако  
Пролетает,  
Будто сорванный парус.  
Горный кряж — изваяние  
Ветра-и-корабля.  
Я заклинаю Хаос: — Цминда арс! Цминда арс!

Цминда арс Хаоси!<sup>1</sup>  
Вечереет земля.

Имени твоему  
Отзывается строго и слитно.  
Розы жертвенные разбросаны — как мерцанье долин.  
На вершинах мятежных  
Почиет моя молитва.  
Я твой гений,  
О Хаос:  
Я форма.  
Я твой властелин.

1919

#### ТБИЛИСИ

Глициния. Лестница витая.  
Осыпавшаяся листва,  
Чеканная и золотая,  
Лежит воздушно — как слова.

Над городом простерта  
слабо  
Мерцающая пелена,  
И ранних сумерек баллада —  
Тому причина и вина.

Их бледнорозовоянтарный  
Меня тревожит колорит  
И больше, чем пожар Верхарна,  
Воображенью говорит.

Предгорья — караван печальный.  
Бредет обитель Саване  
Вослед сутулой Арсенальной  
Неведомо куда,  
вовне.

---

<sup>1</sup> Цминда арс Хаоси! — Свят, свят, Хаос! (Груз.).

Страшись метафор, как навета!  
Стояли обе — а потом —  
Одни водовороты света  
На месте ровном и пустом.

Открылся берег протяженный —  
Раскат на северо-восток,  
И сумрак сизый, свет тяжелый  
На краски города налег.

И ты — единственная милость —  
Как я тебя уберегу? —  
Мне на мгновение явилась  
Седая — в пепле и в снегу.

Разлад, гибель и сиротство...  
Не надо!

Боже, ослепи...  
Прости...  
Дай — видеть  
и бороться,  
Благослови и укрепи...

Мтацминды остов.  
Небосвода  
Свет уходящий — и туда  
Ведут ступени эшафота,  
Как пишут эти господа.

Не поведут их на закланье,  
И Час Судьбы они проспят —  
Но взыскан прежде  
и заране,  
Пророчествующий распят!

А непосильный крест разлада  
Давно и строго утвержден.  
Постой, постой, моя баллада:  
Не спит мой город,  
верит он...

1920

## ЭЛЕГИЯ

Тебе ли, ангел, здесь молиться,  
Слетев с небесной высоты,  
И траурному платью литься  
На горельефы и кресты?

Спасла ли ты Буонарроти?  
Прими блаженные слова.  
Последняя во всей природе  
Святыня теплится едва.

1922, 1 сентября, Сигнахи

## РОДИНА ЧЕРНОГО ЛЮЦИФЕРА

Дождь или Снег? Нам старости края  
Приснятся, будто край утраты отчей:  
Дорога жертв — и высочайшая  
Звезда над нею в недрах полночи.

Алмазочерный мреет Люцифер  
И Вифлеема нет еще в помине,  
Еще в потемках безначальных вер  
Влачится дух... Горит звезда гордыни!

Отчизна Люцифера, ты песком  
Затоплена, бескрайним и безмолвным.  
Был Назарейнин нам не знаком.  
Он шел позднее. Поверху. По волнам...

Беда! И наше дело — сторона...  
Как проклятые — меж пустынной солью  
Блуждаем мы — и сладостью вина —  
И сладью бытия — и крестной болью!

Июль 1922

## ДА БУДЕТ ВЕТЕР!

Да будет ветер —  
Тот —  
Который  
Взметаёт траурные шторы  
В домах,  
Где больше не живу я!

А линию береговую  
Согнет  
Дыхание прямое!

Да будет ночь!  
Да будет море!  
Да будет небо —  
Без просвета —  
И ты —  
И лодка и весло...

Давным-давно  
Когда-то  
Где-то  
Со мной уже произошло  
Все это.

1922

●

Был конец октября.  
День был строго изваян  
Из воздушного янтаря.  
Лето теплилось —  
Грудой развалин.  
Плыло облако —  
Словно Версаль.  
Падал лист —  
Как на сцене сентиментальной,  
Где красивая чья-то печаль  
Не бывает излишне печальной.

Я бродил,  
Нарушая роскошную тишину,  
Замирая порою —  
Не смея  
Разорвать  
Паутинки доверчивую струну,  
Затаенного звука извлечь не умея.

Там скамья.  
Там — она.  
Платье темно-лиловое:  
Цвет беспокойный, тяжелый.  
Золотистые волосы.  
Лба белизна.  
Вижу, замороженный:  
Перебирает страницы —  
Движенье руки  
Будто снится,  
Будто ветер  
Ее поднимает  
И укладывает на листки...

Шелли, Шелли!  
Где же облако — лучезарный дворец?  
УЛЕТЕВШИЕ ДНИ — воистину улетели,  
Ты придумал грядущее —  
Для утешенья сердец.  
Обратимся к земле и к Мюссе:  
Пара строчек —  
За них я всю книгу, пожалуй, отдам,  
Ибо жажду мою утоляет лишь горький источник, —  
ВАШЕЙ ЧЕРНОЙ ИЗМЕНЫ  
Я НЕ ЖДАЛ, О МАДАМ!

От измены лиловой,  
Шелли, Шелли,  
Обратился я к небу.  
Конец кораблю!  
Бьет грядущее —  
Бьет грядущее в щели!  
Погибаю — люблю!

1922



**поля**

Поет мадонна-этих гор и дола,  
Над полем пролетают журавли,  
Серп на руке — обломок ореола —  
Слепит, поблескивая издали.

Клик журавлей и голос одинокий  
У полустанка в тишине полей...  
Уже я различаю стан высокий,  
Отчетливее платье и белей.

А этот блеск — до слез уже, до боли!  
А солнце в роще — золотой паук...  
И никогда не ведала неволи  
Ее душа, прозрачный этот звук!

А что, неведение — залог свободы?  
Но я сегодня думать не хочу,  
Я слушаю мелодию природы,  
Я улыбаюсь острому лучу.

И ранняя вечерняя прохлада —  
Такой свободный, ясный вздох земли...  
Поет мадонна и топочет стадо,  
Как в облаке, в оранжевой пыли.

1925

### **О БЫТИЕ, ЛИКУЙ И ДЛИСЫ**

И вышла ты из мглы веков  
Воздушными стопами —  
И всею негой лепестков,  
И тонкими шипами  
Сердца, как розы, обнялись.  
Колелемое пламя,  
О бытие,  
Ликуй и длись!

Сиротства нет.  
Со мной, с тобой —

Уже в одной куртине —  
Шопен — твой ангел голубой,  
Мой демон — Паганини.  
И сквозь огонь — прекрасна ты  
И холодна...  
Твои черты  
В огне моем — отныне!

1925

●

Неба не видели,  
Землю заездили,  
Предали тайну площадной огласке.  
Лишь на мгновенье поверил я бездари —  
Быть перестал!  
Обескровели краски.

Кто  
Посвященного небу и облаку  
Галактиона к покорности нудит?  
Или —  
Свободы не ведая отвеку —  
Мне о свободе толкует?  
Эй, будет!..

Умные люди — пришли на готовое,  
Сердца не тратя,  
Планете пророчат  
Время без гения — тусклое, вдовое...  
Завтра умру! —  
А планета как хочет!

1925

## ГОРОД ПОД ВОДОЙ

Трещали мачты, паруса рвались  
И НЕТТЕ штормовал в вечернем море  
Я вижу — паруса на ТЕОДОРЕ —  
Борись, бесстрашный!

Слабый, помолись!

Свобода!

Ветер и стихи,

и ключь-я.

Пены бурой,

и душа бездонна,

И судно обхватить и уволочь

Хотят медвежьи лапы Посейдона.

Где море? Или небо? Страшный шум!

Багровый Феб на мрачной колеснице

Проносится куда-то наобум,

И с Хаосом пора бы породниться...

Видения и волны громоздить

Мне весело под шторм неугомонный,

Но этот звук...

Отдельный,

затрудненный,

Он тянется, как золотая нить,

В пути слабеет — долг путь кромешный.

Далекый звук — колеблющийся, нежный,

Совсем особенный:

колокола

Из глубины — а глубина светла!

Ну, да, я странствую на ТЕОДОРЕ,

Пустыня мне назначена и мгла

И молот в сто пудов: оглохнешь с горя

И ждешь еще...

А глубина светла...

Будь выше бед! Вы помните? Не я ли

Вам дал пароль надежды и борьбы —

И — пусть не поняли — вы напевали —

Как мне — далекий колокол судьбы.

Я помню утро небывалой глади:

Дыханье затаил, пропал прибой.



Отделена...

Невелика беда.

Соединю, пожалуй, рифмой парной  
Тебя, о город предков легендарный, —  
С тобой, эпоха грозная моя, —  
И разведу — как грани бытия!  
Так восславлю света киловатты  
И железобетонную пятую  
Прогресса...

Погодите...

Дело свято:

Мы разрешаем мертвых немоту.  
Еще вы слушаете?

Берегитесь .

И не глядите в море глубоко,  
Случайно где-нибудь не оступитесь:  
Покажется небольно и легко.  
Так было в бурю:

звук уединенный

Позвал меня в такую тишину,  
Что вмерз в пучину

НЕТТЕ наклоненный...

Разбил я море —  
Возродил волну!

1927

#### ОН ЗАПЕР ДВЕРЬ

Он запер дверь — и тем замкнул  
Пространство внешнее. В мансарде  
Не слышен многоустый гул,  
Порывистый, как ветры в марте..

Ударил в крышу град — и стих,  
Как барабаны наступленья.  
Он обратился к розам — их  
Всеведению и цветенью.

Донесся возглас... Дело в том,  
Что упоение безбрачно.

Он затопил камин. С огнем  
Все было ясно и прозрачно:

И мыслей, и предметов круг.  
Чекань, огонь, свою чеканку!  
Пространство замкнутое — вдруг  
Вывернуто наизнанку!

1927

### волнуются

В розах голоса обитали.  
Только я вышел в сад —  
Заволновались, залепетали  
Неуловимо в лад:

— Не укроется от Эрота  
Даже Первый поэт! —  
О, это вы! Это природа.  
Я укрываюсь? Нет...

Буду Первый или Великий —  
Вовсе ли никакой —  
Но посвящаю все мои книги  
Самой Первой — одной...

Я тогда причастился тайных  
И торжественных сил:  
Я из пальцев ее хрустальных  
ЭТО дыханье пил...

1927

### ЗА ЧТО!

И губы вспыхнули — рубин!  
Я проклят нараспев!  
А смысла нет — лишь гнев один —  
Непостижимый гнев!

Мой бог и тысяча богов!  
За что? И знать нельзя!  
Гнев, разрешение оков,  
Творящая гроза.

И слова молвить не дает!  
Мне кара суждена:  
Пускай гроза меня убьет  
Такая, как она!

1927

#### КОЛЕБЛЕТСЯ АРФА

Исцелится ли сердце?  
Бесконечно пространна  
Сонного небосвода ленивая арка.  
Глуховатого, тусклого цвета коралла  
Розы вянут,  
И ветра колеблется арфа.

Содрогаются струны,  
А звуки безмолвны.  
Потемневшие своды отложе и ниже.  
Переходами жизни мучительно полно  
Угасание сердца.  
Тише, прошлое, тише.

1927

#### КУКЛА

Куколка в парче —  
Волосы льняные,  
Губки расписные,  
Шрамик на плече.

Кукла, ну-ка спой!  
Кукла, хочешь вишенку?

Кукла, видишь нищенку  
На грязной мостовой?

Эх ты, кукла! Что ж  
Песен не поешь,  
Жалости не ведаешь,  
Сласти не отведаешь?

Говорит: хочу  
Снять с души проклятье —  
Золотое платье —  
Душную парчу.

1927

#### ЧАША ПЛЕМЕНИ

Водоросли, колеблемые  
Музыкой бездыханной, —  
Так движения медленны  
У плясуньи странной.

В голубоватом ладане —  
Призрачная — плыла...  
Дайте — вина и пламени  
Чашу выпью дотла!

За тебя — за погибшую!  
Помни — тебе пою  
Песню эту охрипшую,  
Славу — и литию!

Пусть над бездною высится  
Гений — судьба моя...  
За тебя, ненавистница  
Сонного бытия...

Складки ветра и пламени  
Обрывая, клубя,  
На обрыве, на камени  
Утверждаю тебя.

1927



## ОЗЕРО В ГОРАХ

Голубые травы и цветы  
Родились и выросли высоко.  
Кладезь синевы и черноты —  
Озеро — мерцающее око  
Каменистой серой высоты.  
Опрокинутые мачты пихт,  
Яркий луг и сумрачный кустарник,  
Россыпь мхов — рубиново-янтарных,  
Малахитовых и всех иных —  
Россыпь откровений ювелирных —  
Озера оправа и оклад.  
Явь и холод областей надмирных —  
Память молодости — вещей хлад...  
Просыпающиеся тюльпаны,  
Плачущий — хрустальный — теплый снег  
И с ружьем сутулый человек,  
Уходящий гиблыми тропами...

Что — моя охота? Сны и сны.  
Птичий взор — рассеянный и точный.  
Рыцарственный профиль крутизны,  
Блеск дневной и ветер полуночный!  
Эта всячина и пестрота,  
Этих волн раскаты — плоскогорье!  
Это черно-голубое море —  
Опрокинутое —  
Высота!

1935

### ДНЕВНИКОВАЯ ЗАПИСЬ

Веди же, Миндиа, вперед —  
Не дрогнут львиные колена!  
Так пели вы, но постепенно  
Запели вы наоборот.

Возвысился простой народ,  
Поскольку справедливо чудо —

Вы скатываетесь покуда  
С божественных былых высот.

А эстетическая часть  
И вовсе уж грустна в итоге —  
Покинуть царские чертоги —  
Чтобы в лакейскую попасть.

И пресмыкаясь от души,  
Сбивая львиные колени, —  
Каких вы ждете откровений  
От лизоблюда и ханжи?

Любоначалие как страсть  
Томит и гонит вас жестоко.  
Прочь отойди. Стань одиноко.  
Ты сам себе — указ и власть.

1935

#### НАДПИСЬ НА КНИГЕ «МАНОН ПЕСКО»

И я окружен глубиной безначальной,  
Где сон проступает сквозь сон —  
Как повесть иная — сквозь этот печальный  
Роман де Грие и Манон.

Столетия летят! На обложке шедевра —  
Нежданный его эпилог —  
Тревожные ритмы Парижа и Эвра,  
Затянутый узел дорог,

Фиакры, наемные головорезы,  
Дуэль, вероломство, тюрьма...  
И рушится вся богословская теза,  
И логика сходит с ума.

А бедствий причина — ясна и невинна!  
И праведен тот, кто влюблен.  
О бедный закон! О печальный старинный  
Роман де Грие и Манон...

Осенняя стужа, влюбленные в роце,  
И час их неверен и скор,  
И страшно маячит им Гревская площадь —  
Толпа и позорный костер.

Но петли уловов и тропы запрета  
Уже разрешила, прошла —  
Как луч отлетевший — мгновенная эта,  
Певучая эта стрела...

Утрата — и ужас. И ропот на бога.  
И старый аббат поражен —  
И рвется — и длится — темно, одиноко  
Роман де Грие и Манон.

1939

#### ИСКЛЮЧЕНИЕ

Сердца падающие удары  
Будто реже и тяжелей.  
Опустелые парки, бульвары,  
Лунный сумрак в пролетах аллей.

И родною и призрачной былью  
Ты являешься из-за кулис.  
Будто сонные белые крылья —  
Руки всплыли, переплелись —

Опадают в немой укоризне...  
Светом пепельным вся залита —  
Ты исполнена трепетной жизни  
И тоске никакой не чета!

Ах, Сен-Санс, безотчетная юность  
Тем прекрасней стократ — и она  
Этот свет, эту горькую лунность  
Не поймет и понять не должна.

И благое неведение танца  
Так неведение слова сродни!

Я стихи понимать не пытался —  
И меня не убили они...

Протанцует и рученьки сложит —  
Счастья слезы заставит пролить —  
Но не сможет, вовеки не сможет  
Смертной муки моей разделить.

И моя суеверная робость  
Подает мне решительный знак,  
Что и мне эту узкую пропасть  
Перейти невозможно никак.

Наша юность — железная скудость,  
Наша радость пошла с молотка,  
И расплата за позднюю мудрость  
Нескончаема и велика.

Где же радость? Убийца! Разиня!  
Или нет? Я ошибся? Я прав?  
Выбегает... Ах, солнышко, Мзия! —  
Ножкой розовою смерть поправ.

1940

#### ПОЙДЕМ СО МНОЮ

Хрустальным утром, рано, налегке  
Пойдем со мною в сторону Бетани,  
Чтоб на родном и звучном языке  
По всей дороге птицы щебетали.

Там лепится Ираклия гнездо  
И думу думает Орбелиани —  
И нам ее достанет лет на сто —  
Пойдем со мною в сторону Бетани!

Там постарели липы и дубы,  
И стебли розовые буйно вьются,  
О друг мой, остановимся, дабы  
На время прожитое оглянуться.

Тбилиси дышит где-то за горой,  
Высматривает место обитанья  
Душа моя... Хрустальной порой  
Пойдем со мною в сторону Бетани!

1940

●  
И поблекла и позолотела,  
А подмерзла — всю расцвела...  
Тропку — ласточка — перелетела  
И над бездной слепила крыла.

Высоты переполненный кубок,  
Золотое руно октября.  
Величавый обломок-обрубок,  
Клен плывет — и пышет заря.

А кора у него камениста,  
А листва у него молода  
И прорезана нежно и чисто,  
И пронзают ее холода.

Будто эти корявые ветви  
От развилки — тропа и тропа.  
Оглянись на зарю и помедли —  
Как заря, как деревьев толпа.

Здесь преданья витают поныне  
Над обрушенным утлым жильем,  
Здесь бесплодные молят рабыни —  
Две рабыни — о чреве своем.

Шум невидимого водостока,  
Где речонка в бетоне узды.  
Солнце выглянет с юго-востока —  
Из-за этой кудрявой гряды.

Смотрит клен на террасы Самадло,  
На угрюмый зубец Кёр-Оглы.



Ты бездыханная упала.  
Весна! Я жив — я слезы лью...

Весна, как грустно мне и чудно —  
Как будто спал я непробудно:  
Лег молодой, а встал старик,  
И сон был грозен и велик.

Весна моя, подольше царствуй,  
Храни меня и — благодарствуй,  
И где сойдутся две зари,  
Мне двери тихо раствори.

12.IV.1956



Тень каштана скользит по стеклу.  
Там за нею — за дальнею далью —  
Посетителя тень в зазеркалье —  
Та же, в том же глубоком углу.

Это утро. Пустое кафе.  
Я, входящий в чудесном смятеньи.  
Это Пушкин!.. И спутницы-тени:  
Экатомба и ауто-да-фе.

Пистолет ли, костер? Все равно.  
Черный остов — иль малая ранка...  
Для избранных э т о г о ранга  
Честь жены, честь эпохи — одно.

Где по мраморному алтарю  
Жилка мерзлая — Черная речка —  
Там тебе — только нож да овечка...  
Слышишь, чернь, это я говорю.

Я тебе говорю, воронье:  
Весть о жертве, о жесте высоком  
Ты встречаешь желудочным соком —  
Ты всегда получаешь свое.

1956

## СТИХИ

---

●

Сквозь дождь и дерево нагое  
свет фонаря едва прошел —  
как ломкой золотой дугою  
широкий вспыхнул ореол!

И поэтическое зренье  
подобную имеет власть:  
вся жизнь вокруг стихотворенья  
сомкнулась и переплелась.

Я вижу свет перед собою  
и жизнь кругом, и вся она  
и каждая черта — любовью  
осмыслена, озарена...

●

Море, труженик идеи,  
я люблю твои труды —  
и капризы и затеи  
камня, ветра и воды.

Есть камень — образ милый —  
есть один всему венец...  
Как-нибудь волна промыла,  
угадала, наконец.

Камень выбрала вслепую  
из несметного числа



и—на счастье!—ликуя,  
профиль тонкий провела.

По волнам бухты скачет скутер,  
и встречный ветер — лучший скульптор —  
единым замыслом объял  
на свете лучший материал —  
одним порывистым усилием  
все обозначит — без резца —  
от голени и до лица  
и все обдаст соленой пылью —  
обдаст и насухо опьет  
и замирает на мгновенье,  
и собственное вдохновенье  
в богине мастер узнает,  
и выведя Nikeи крылья,  
вмиг отлетает, душу вылья,  
не оглянувшись, на простор —  
у пирса вырубив мотор!

#### ОТРОК

И я мгновенно увлечен  
полумальчишеским плечом,  
полудевическою грудью:  
сама природа на распутье,  
и ты, мой милый, обречен  
ее сомненьям и капризам.  
Как перед светлым кипарисом,  
помедлит, горькая, она —  
и, сожалея, и тоскуя,  
тебе наладит стать мужскую  
и все определит сполна.  
И гибкий переломит голос,  
и в грубых утвердит правах,  
а там — душа перемололась  
на страшных этих жерновах...



Ба — тумм!  
Бугрится море,  
просвечивая ало.  
Баа — тумм! — и налегает  
на мыс Махинджаури,  
и подается берег.  
А там  
почиет бездна.  
Ба — тумм! И эхо: томба...

Вот молодого Галла  
гармония и буря.  
Здесь потопили город,  
который в полнолуние  
всплывает, разрешая  
терпенье смерти.

Помни,  
стоящий над обрывом,  
пока луна восходит,  
что воля к воскресенью  
сильнее волн и ветра.



Ты погляди, как ветви ели  
вливаются в единый ствол —  
для дальней, невозможной цели.  
Она — не имя, но глагол.

Ты укажи, в котором месте  
на океане мировом  
стоит пустынный Остров чести —  
ты ревновал о таковом...

Имен своих великолепье  
несовершенство бытия  
влачит, как золотые цепи.  
Вперед, словесность, жизнь моя!

Дождем в предгорьях падают минуты.  
Умылся камушек, подумал и потек.  
Постой внизу и подожди, как будто  
виновен в том, что прочим невдомек.

Гора сползает! Шевелятся камни,  
угадывая русло-колею.  
Держи лавину распростертыми руками,  
заворожи стихию как змею.

Скажи, кому нужда в родной природе  
рельефы гладить и черты равнять?  
Как матица в дому, как дэдабодзи  
ты должен тяжесть встречную принять.

...Уже по шею в щебневом болоте —  
оно ползет — я грузну и держу —  
я крестенею в тягостном полете —  
ищу опору — душу положу...

Судьба моя! Единое объятье —  
одно воскрылье распростертых рук.  
Родимый щебень прет враждебной ратью.  
Сползла деревня. Изменяет друг...

Сквозь тьму, сквозь веки вижу только Ушбу,  
чей лик мне ослепительно сиял...  
Где я стоял, я выхожу наружу  
и падаю на месте, где стоял.

Вижу: давно идете,  
в гору стволы креня.  
В вашем добром народе  
не хватает меня.

Лес наброшен на горы —  
плавной складки руно.

Марево — вечный Город.  
В Городе том — Окно.

Под Окном спозаранку  
тополь сходит с ума:  
вся листва наизнанку,  
без ветра, сама.

Каменные ступени,  
медленные облака.  
Здесь, на краю терпенья  
и постую пока.

### В ГОРАХ

В тени полупрозрачной траура  
прошла она — не шелохнулась —  
и вслед за нею имя — Лаура —  
хрусталь воздушный — протянулось.

И марево над камнем выжженным  
дрожало и переливалось,  
и сердце помыслам возвышенным  
и скорби женской предавалось.

Носи легко одежду яркую,  
не урони гордыню вдовью —  
как я легко дышу с Петраркою,  
утешенным твоей любовью.



Друзья мои, вы есть, вы были,  
вы научились воскресать —  
со мной беседуете — или...  
не смею слова досказать.

И кто-то перевал осилит,  
отпыхиваясь тяжело,

а ласточка летит навывлет  
и невредимо сквозь стекло —

и только звездчатая брешка...  
И мы с тобою, милый мой,  
туда, где вспыхивает вешка,  
летим по ломаной прямой.

Сгорев гордыней и досадой,  
ты взмыл, покинул Муштайд<sup>1</sup>.  
Ты говорил, что век десятый  
в горах, как облако, стоит —

и дальше ни единым мигом  
громада эта не пошла.  
Турецким и татарским игом  
поэзия пренебрегла.

А линии черны и белы,  
а душу воспитала грань...  
Ты знал, где обры, где иберы.  
Как холодно! Какая рань!

Еще вчера блаженный Павел  
тринадцатую главу  
коринфянам слепым отправил...  
Ты этим жил — и я живу.



Здесь переждем-перейдем,  
где смерти грозные владенья,  
вниз поглядим — и страх паденья  
на мужество переведем.

Орлиный отрешенный круг —  
свободный перевод рельефа  
и взгляд возвышенный — и с неба  
в тебя вперяющийся вдруг.

---

<sup>1</sup> Муштайд — сад в Тбилиси.

На дерево взобрался плющ,  
гранит посеребрили слизни —  
они повинны в буквализме,  
который столь им при-со-сущ.

Ты многого еще не знал.  
Доверься счастью, брось поводья!  
Сию минуту в переводе  
рождается оригинал.

Зима — над нами высоко,  
а здесь весна — сырой подстрочник  
ручьев, ростков, снегов непрочных...  
**Я вижу осень, дзамико<sup>1</sup>.**

#### ГАЛАКТИОН ЧИТАЕТ

Уже в ветвях черно и голо  
и лес во тьме — или в огне —  
и дух поэта вне глагола,  
и слышать хриплое тремоло  
уже невыносимо мне!

Твои голосовые снасти  
так оттрепало, как листву,  
но память жизни, память страсти  
на старости — как наяву.

Я отмолю тебя, омолнив  
живую рамою — прости! —  
но слово — счастьем — переполнив —  
не удержать, не вы-нес-ти!



В скалу врезается асфальт  
орлиными кругами —

---

<sup>1</sup> Дзамико — дружок (груз.).

знакомый

нежный

резкий альт

звонит в минорной гамме,  
и плавно забирает вверх,  
и рвется в крике слезном,  
и гаснет, словно фейерверк  
в грузинском небе звездном.

Но вот как будто закруглен  
на высоте альпийской  
и педагогом отделен  
от крика и от писка.

И я стою, заморожен,  
у выгнутых решеток...

А в памяти — какой-то фон  
каких-то хриплых глоток.

О, как я мучился, немел,  
как — с третьего стакана —

— Р-ревела буря, гром гремел...

безбожно бесталанно.

Не обижайтесь, ничего...

Здесь верхняя октава  
и завтрашнее мастерство.

Не обижайтесь, право!

Но мальчик в песне будет — весь,  
и зал не стерпит фальши.

А вы как будто —

всё не здесь.

Куда ни кинь —

всё дальше!



Фронтоны весом в тыщу тонн —  
строй долговечности досадной.

Величье

серости фасадной,  
полурельефы фальшколонн.

Темны квадратики стекла.

Окошек мощные надбровья

запомнили средневековье.  
Гранитный цоколь — как скала.

Стоят не глядя, не дыша  
дома

особенного стиля.  
Какая музыка застыла  
и отпечаталась душа!

Вообразите мост и ров  
перед угрюмою стеною.  
Дом выстроен перед войною  
руками лучших мастеров.

●  
Одна черешенка стоит  
в долине Алазани —  
ее вином земля поит  
и небеса — слезами.

Красным-красно,  
белым-бело,  
и в первый раз ей тяжело,  
и ветви ломит ей.  
И я стою среди ветвей  
и говорю:

— Плодами!  
Плодами дерево цветет,  
и Грузия —  
плодами.

Так было в день блаженный тот  
при мастере Адаме.

●  
О чем ты думал? Образ мысли  
есть образ жизни: погляди,  
как жил — и хоть один исчисли  
поступок впереди.





●

Мальчишеский голос чистейший,  
мальчишеский голос поет  
про то, что погибнет сильнейший, —  
поет и вздохнуть не дает.

И песня меня усыпляет,  
и старая длится дуэль:  
поверженный в небо стреляет,  
в небо — хорошая цель.

За что же — родного — роднейший —  
оплачет, оплачет — убьет?  
Зачем погибает сильнейший?  
Зачем этот мальчик поет?

И тихо поет он и грозно  
про то, что нельзя воскресать,  
про то, что напрасно и поздно  
прохладные локти кусать.

Смолкает пронзительный голос.  
Молчи, заклинаю, молчи!  
Смолкает, как плачущий полоз  
в морозной просторной ночи.

## НА ПОЛЕ КРАСНЫХ МАКОВ

*Из Маркеса*

Не надо задавать бессмысленных вопросов.  
На море ни следа, ни тени на песке.  
Испанский галион, обуглившийся остов —  
на поле красных маков, от моря вдалеке.

Когда он был и плыл? Когда воздухоплавал,  
на ярких парусах ныряя в облаках?  
И бог его призвал — и не покинул дьявол —  
и посуху он полз на слабых плавниках.

Потом его сожгло безмерное терпенье  
и маки подошли к обугленным бортам,

и выразили вдруг чудесное волнение —  
как свойственно цветам, единственно цветам.

Любови не избыть — и он плывет и правит  
за каменный венец — зубчатый окоем —  
любови не избыть — и сердце умирает  
в горах и облаках, во времени твоём.

### ТВОЕ ГОРЕ

Ну, а в начале этих лет,  
когда припомнить, что же было?  
...Глаза младенца — синий цвет —  
полуприкрыты. — Швило, швило!..

И белый гроб и мать в платке,  
и тьма людей идет прощаться.  
Жара, и кладбище в Ваке  
дрожало чашею Причастья.

Ушел я в горы, в тишину,  
в рельефе чтобы разобраться...  
Младенца нынче помяну,  
мальчишке было бы пятнадцать.

А мать...  
Мгновение одно  
бездонной темноты и боли...  
Мгновенье переведено  
на годы, голоса и роли.

А по-грузински я молчу —  
и все верней и безусловней.  
Поставлю каждому ключу,  
где он пробился, по часовне.

Хочу, чтоб каждый свой исток  
душа моя благословила,  
покуда жив и не иссох.  
Все эти годы: — Швило, швило!..

●

Были цветы и колосья,  
красные маки цвели,  
где костромские полозья  
след голубой провели.

Там начинаются горы —  
солнечная сторона:  
стройно заполнены хоры,  
празднично пихта черна.

Так ослепительным летом  
слишком черна и резка —  
помнишь? — на камне нагретом  
тьнь полевого цветка.

Краток закат и обрывист,  
все хорошо, старина, —  
если мне очи не выест  
северная белизна.

●

Это что же?  
Это март ли —  
бесноватый, гиж?  
Не похоже,  
дэда<sup>1</sup> Картли:  
синева и тишь.

Завтра  
где-нибудь в Николе }  
и давным-давно  
замечаю поневоле:  
тихое  
оно.

Сонный-сонный,  
гижи-гижи

---

<sup>1</sup> Дэда — мать (груз.).

голубой январь:  
обернись, гляди —  
гляди же,  
мыслящая тварь!

●

Энциклопедия  
всей любви:  
только живи,  
только живи.

Только бы сил хватило,  
чтобы — пережила —  
долго бы приходила  
и насовсем пришла.

Энциклопедия  
всей любви:  
только живи,  
только живи.

●

Заплачет ни о ком,  
как школьница, закурит,  
когда одна, тайком.  
Присядет и сощурит  
свой разноцветный глаз  
и домики рисует...  
Одна земля рассудит  
и всех обнимет нас.  
То блюдечко уронит,  
то ключ забыла, то  
сидит в платке, в пальто —  
пришла или уходит?  
В одном и том же сне  
всех нас спасает чудо.  
Прекрасно то, что вне  
суда и пересуда.



Родные! Я исчез  
горящего эфира  
легчайшим из веществ,  
и в области надира  
и северных чудес  
перевожу на русский  
любовь и доброту.  
Единый столбик узкий  
пронизывает темноту —  
я славлю наготу  
чистейшего балета  
и страсти без завета,  
хладеющие  
на лету  
и меркнущие где-то...



Пошёл, пошёл — по тропам  
на север наугад —  
а черный цвет потрепан,  
а серый сероват —  
на злую волю волчью —  
и поделом, гордец! —  
но кровию и желчью  
не соблазни сердец.  
А воля — как погоня —  
всегда-всегда близка  
и на родимом лоне —  
по родине тоска!  
В заплеванном раймаге  
и в подзаборном сне  
покорные дворняги  
тоскуют обо мне.

●

В дебрях крупноблочного квартала,  
в недрах городского бытия  
невредимо при дороге встала  
малая часовенка моя.

Где проходит служащая смена,  
вздернув плечи, опустив носы,  
в силу некоего феномена  
останавливаются часы.

Возле этих маленьких часовен,  
темного наследья старины,  
я давно заметил: час неровен,  
и в движеньях люди неверны.

Будто бы незыбкий, неослабный,  
неоглядывающийся ход —  
повергается в какой-то плавный  
обморок или круговорот.

Время пропадало несомненно —  
опоздало — ускоряет бег.  
В силу некоего феномена  
о душе подумал человек.

#### ПИРОСМАНИ

*Э. Амашукели*

Непринужденно и легко  
такое сходится — взгляни-ка —  
ты видишь, как стоит Нико?  
А помнишь, как летела Ника?  
Что значит воля? То, что он  
пред богом — вольно и сурово  
от имени всего живого  
стоит — коленопреклонен.  
К груди овечку прижимает

дрожащую — и обнимает  
руками и накрыл плечью:  
— Ее спаси — меня прими!  
Грудь — впадина: движенье птицы —  
крылами заслонить птенца.  
Попробуй — выломит ключицы!  
Смысл жертвы — жертва до конца.  
Душа художника горда  
и не умеет покориться,  
но чудный гений — материнства —  
нас осеняет иногда.



Блаженная страна,  
в которой вы живете,  
которой крутизна,  
замеченная Гете,  
и камня и небес  
и стихотворной строчки  
имеет вкус и вес  
и рождена в сорочке!  
Вся скомкана земля,  
вверху зимует лето,  
но Грузию нельзя  
расправить на полсвета.  
Будь истина — тесна,  
но врозь — духан и келья.  
Вселенная видна  
из черного ущелья.  
А волны разведешь,  
где ваш почиет Китеж...  
Но если раз войдешь,  
то более не выйдешь.  
Неразрешимы, нет,  
проклятые вопросы.  
Да видит тьму и свет  
ущелья глаз раскосый!



●  
Каким-то мрачным аппетитом  
с утра до ночи он страдает,

и день-деньской имеет ритм,  
в котором он его съедает.

Большие руки — будто ляжки —  
он опирает о перила.  
Все начиналось с манной каши —  
ах, что ты, мама, натворила!

С балкона пасмурно следит он  
за головами и плечами,  
что еле набраны петитом  
в каком-то тусклом примечанье.

Сидит и яблоко кусает,  
гримасничая и потя,  
и на мозги мне тень бросает  
прикованного Прометея.

●  
Норпитовская! духота,  
горячий над плитой ветер,  
гремит кастрюля на пять еедер,  
шипит и пляшет, пролита,  
вода — и светится плита,  
и раздаются голоса  
стряпух  
из кухонного чада...

Какая чистая досада  
на землю и на небеса!

Телефонистка мне трубит —  
и нет во мне негодованья:  
я слышу —  
об ином призванье  
все существо ее трубит.  
Что — грубость? Ненадежный щит.  
А трубка плачет и пищит.

<sup>1</sup>Норпит — Нормальное питание.

Людей я знаю по себе:  
услышу — и переиначу.  
Рыдая

о своей судьбе,  
кассирша, ничего не знача,  
тебе выбрасывает сдачу  
и зло срывает на тебе!



Сиди и напевай  
забытое совсем:  
**гекоммен ист дер май<sup>1</sup>...**  
Спроси его — зачем?

Мой милый, сны и сны,  
а больше ничего  
не стоило цены  
терпенья твоего.

И это не базар  
(что надо объяснить),  
а неотвязный дар —  
платить — платить — платить

за все, чего давно,  
на свете больше нет:  
за Город, за Окно,  
где погасили свет.

#### **НАРИКАЛА**

Нехороши подсвеченные стены —  
я приходил сюда при свете дня.  
Рельеф единой мускульной системы,  
как ясный замысел, пленил меня.

---

<sup>1</sup> Пришел май (нем.).

Я понял эти связи, эти вздутья —  
так проступает сухожилий ход —  
так воин в обороне ляжет грудью  
и руку — так — над головой согнет.

Нари-кала при каждом повороте  
естественно и резко смещена  
и безымянного Буонарроти  
живому гению подчинена.

А глыбы, стиснутые как попало,  
повсюду строгий сохранил отвес,  
Ты: хороша, твердыня Нарикала,  
рубеж Тбилиси и самих небес!



Нагая тишина безветрия.  
Три сотни окон спят в стене,  
и нищенская геометрия  
еще беднее при луне.

Еще беднее и бездарнее  
напротив и наискосок  
супружеская брань базарная,  
где женский голос так высок...

Не первый год живу на свете я:  
утихомирится жена,  
утихнет драма — а трагедия  
невидима и не слышна.

#### **ТВОЕЮ СЛАВОЙ**

А вам такое не знакомо,  
когда ненастью вопреки  
уходят — не сидится дома —  
и бродят ночью старики?

И кто их знает, где их носит!  
Один споткнется как-нибудь,  
переходя железный путь —  
лежит и помощи не просит.

Находит мир его душа  
за пустырями на дороге...  
Красивые подходят ноги,  
смоленным гравием шурша.

А он не столько плох и стар,  
еще не столько, боже правый,  
чтобы утратить лучший дар  
пред женщиной — твоею славой.

Ей гений дан: как поняла!  
Ей тоже полночь эта снилась...  
Легко и сильно наклонилась,  
своим дыханьем обдала —

теплом младенческим и млечным,  
существованием иным  
туманом утренним заречным,  
лугами, молоком парным...

Она ведет его по шпалам  
туда, где света материк,  
и телом легким и опальным  
трепещет, мается старик.

Заплакала, занемогла,  
нагнулась, потеряв гребенку,  
и помочиться помогла  
ему, как малому ребенку, —

и — полумертвая — ведет —  
да чтобы только не споткнулся...  
И город и небесный свод  
на эти слезы наворачнулся.

## НЕ ПОЖАЛЕЮ

Я никогда не пожалею,  
что так я кончу подвиг свой —  
что я увижу Лорелею  
на ослепленной мостовой!

Вослед тебе я оглянулся —  
я сбит крылом грузовика —  
не захотел — и не очнулся —  
и так остался — на века —

в крови моей напечатленный  
привет последний — красоты —  
среди безвыходной вселенной,  
среди бездушной темноты!



Петухи поют вторые.  
На уста кладу печать я.  
Не одобрил муж Марии  
непорочного зачатья.

Ой, какая, сердцеведы,  
этой жизни сердцевина!  
Понесем вины и беды —  
только женщина — невинна.

Судии синедриона,  
дело есть темно и свято.  
Женщина — не виновата  
и не надо ей закона!



Мне написать страницу,  
перебеляя быль —  
как дурню-австралийцу  
сожрать автомобиль.

Он молод, он дерзает,  
планета ждет вестей.  
Он громко разгрызает  
коробку скоростей...

А я связал на счастье  
два слова: ты и я —  
расторгнутые части  
земного бытия.

### СВЕТИЦХОВЕЛИ

И это — клин,  
который длинн  
и оттого певуч,  
который в небесах пливуч,  
как старый цеппелин.

И клинопись моя стара,  
летуча и легка,  
и восьмиклинные шатра  
свела одна рука.

Там узко устье, тесен свет,  
в который я влюблен,  
которым во мгновенье лет  
я был испепелен.

●

Он молодую мне представил  
и моложавую жену —  
я про себя его поздравил,  
хотя подумал: ай да ну! —  
уж захлестнет тебя волной...  
А что? Естественное дело.  
И женщина помолодела,  
когда знакомилась со мной.

И сам я чести не ронял...  
А он сказал: поехал к внуку.  
Я внял, однако, только звуку,  
а смыслу этому не внял.  
Гурама — внук, жена — Гурама...  
Что? Молодая эта мама  
еще и бабушка к тому ж?  
Не может быть — какая чушь!

И вижу вдруг и потрясенно,  
как молода еще мадонна —  
та, с мертвым сыном. Ей-же-ей,  
он старше матери своей!  
Какое дивное значенье  
глядит оттуда! Где мученье?  
Улыбка легкая и свет —  
ее лицо — Ея Завет.  
И мраморное облаченье...

#### ОКТЯБРЬ

*А. Межирову*

Жена прогуливает дога  
и машет хлыстиком,  
псом огнедышащим ведома  
на дачу к мистикам.

Житье-бытье у них двояко —  
земное сбудется...  
Чужая женщина. Собака.  
Ничто не слюбится.

И дом пустой и нету дома —  
и этой пристани.  
Любовь разрушена как догма —  
любовью к истине.

Для сердца сильное движенье,  
сильнее прежнего —  
и мужество, и постиженье  
пространства свежего.

*Эммануилу Фейгину*

Идти не можешь?  
Беги.

Бежать не можешь?  
Лети.

Лететь не можешь?  
Не лги.

Понять не можешь?  
Прости.

Мне целиться в летящий день  
мешает творческая лень.

Но — что скажу — то будет правда  
сегодня или послезавтра —

неведомо когда-нибудь —  
но я пронизываю суть.

А в этом деле братья-внуки,  
не столько правды, сколько муки,

**ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ**

Глядит как лорд британский  
четырнадцать лет  
Евгений Боратынский,  
разбойник и поэт.  
Минует четверть века,



и полагает он  
стихиям человека  
хранительный закон.  
Лишь только то, что плоско,  
наш плоский ум вместит —  
лишь маленькую блестку,  
которая блестит,  
а нам и это льстит,  
как похвала подростку.  
Создатель «Недоноска»  
отчаянно грустит.  
Но все ж, себя измучив,  
не ступит он за край,  
где  
    обитает

Тютчев.

Не надо, не ступай.  
Ты здесь, ты утешенье  
тому, кто там бывал.  
Тебя — воображенье  
убило наповал.  
А что? А страх житейский,  
тревога о жене —  
как тот припадок детский,  
как те слова вчерне...

#### СЛОВО МИЛОСТИ

Читает, пишет. Взаперти, один.  
Что означает это заточенье?  
Свобода — добровольный равелин,  
а дарование есть порученье.

В Муранове себя замуровал.  
Зачем — Мураново, Каймары, Мара?  
Созвучий круг — прибежище кошмара,  
и Пушкин звукам воли не давал.

Тоскует, пьет. Да кто его ссылал?  
Да на свободе — мало воли, что ли?  
А он ушел от этой самой воли —  
он этой воли сам не пожелал.

Судьба — усилье гордого ума.  
А чем венчаются они, усилья?  
Иронией... Ты спасена, Россия:  
мы — сами по себе и ты — сама.

Невидимый незрячий мелкий дождь.  
Накопится — и в бочку капля капнет.  
Терпи за сорок лет, российский Гамлет:  
и самого себя ты не убьешь.

Накопится — и капнет. И молчок.  
И эту паузу заполнить нечем.  
А дождь по имени — му-се-ни-чок...  
И если этим овладеть наречьем...

Другое бытие — другой словарь!  
И так ясна и так невинна Сумерь,  
и жив мужик, покуда он не умер —  
как всякая живая божья тварь.

Тут, Родус, прыгни, тут, моя душа!  
Пускай в Европе вольность шевелится —  
свобода исподволь и хороша...  
Ах, родина! И речь твоя, и лица...

Он прав, мой гений: втайне и вчерне,  
и тем милей, что вовсе беззаботна!  
Что — мысль моя? Ужель она свободна,  
коль так мертвит и давит сердце мне?

Пусть выбирает форму — матерьял.  
На то и опыт мой, и очи зорки,  
чтоб вещей смысл народной поговорки  
надменную премудрость поверял.

Он вышел. Тихо. Влажно. И со щек  
щекотного дождя не вытирает.  
Российский мученик, все повторяет,  
как слово милости: му-се-ни-чок,

## КОЛЬЦО

Сомкнулось людское кольцо.  
Он вспомнил — ему это снилось —  
сто лиц, наплывая, стеснилось  
в одно круговое лицо.

Кричали владельцы лица  
разгневанно и неприлично.  
Он был их легенда и притча,  
досказанная до конца.

Он думал в своей тишине:  
сбываются Слово и Сроки  
и пылкие люди — во мне —  
свои осуждают пороки.

А что я отвечу? Молчу.  
Кричат — ни словечка не слышу,  
На ту — против солнышка — крышу  
сейчас поднимусь по лучу...

На кровлю облокотясь,  
спасенья прямая дорога  
сходила на площадь отлого,  
привычно и мирно светясь.

Потом опустело кольцо  
и в городе осиротело...  
Все то, что лица не имело,  
опять потеряло лицо.

## БАТЮШКОВ

Утро ночное, слепое окно.  
Двигается что-то — не вижу, темно —  
вон, через двор, занесенный золой.  
Этак бывало в Италии злой.  
Низко сегодня сел потолок.  
Снова проходит — и след поволок...  
Тёмно, невидимо — свечку задул.

Так и бывало, помнишь, Тибулл?  
Кто-то из бреда пришел твоего  
в Хантоново, ха-ха-хантоново.  
Вышел на холод — восток озарен.  
В полдень закладывать — за декабрем!  
Как поворотит зима на весну —  
тут-то я на зиму и поверну...  
Батюшков знает — рассудок велик —  
тот сокровенный разымчивый миг.  
Едет — пора — вдохновеньем гоним —  
путь поворачивается под ним —  
верно приводит — к тому же крыльцу.  
Слезы блаженства текут по лицу.  
Счастлив безумец. Теперь — вспоминать!  
Время твое обращается вспять:  
все оживая, все больше любя,  
Делия, вновь доживу до тебя!



Ветреной ночью платан шелестит,  
легкая бездна навстречу летит.

Набережная гонит и гнет  
этот ночной, этот душный полет.

Вот в мостовых простонало столбах,  
дух захватило, скрипит на зубах.

Мальчик растет и смеется во сне...  
Встань поутру, позабудь обо мне.



Сердце, без меры упорное,  
все перетерпит любя.

Тронется озеро горное,  
мирных долин не губя.

Дрогнет зарница — не режется.  
Вспыхнет — померкнет опять.

Кто-то не может утешиться,  
слез не стыдится унять.

Только свобода страдания  
этой душе суждена.

Облако дальше-дальнее,  
северная сторона.

#### ВЕЧЕР. ОЗЕРО

Отделенный сумраком от земли,  
бор не опирается на комли.

Будто рукою легкою внесены  
заповедные стройные три сосны.

Будто едина плоть одного комля.  
Все принимает лес и несет земля.

Троелучица бора, хоть ты прими  
человека, простертого на земли.

Ландышевый голубой угор моховой  
над озерной сонною синевой.

#### ВРЕМЯ ТВОЕ

Есть одно такое диво  
в этой жизни благодатной,  
что становится обратной  
временная перспектива.

Дайте, расскажу толково:  
дальше — ближе все живое,  
ибо сходится подковой  
время цельное, кривое.

Милые и дорогие,  
я смешал во время оно  
с воздухом Галактиона  
тайнословье литургии.

Только имя не сказалось  
в голубом рассветном дыме —  
не руби, когда связалось  
связками голосовыми!

\*\*\*

Красота не виновата  
в непомерности избытка:  
вай, художник, что за пытка —  
не гляди на цвет граната!  
Красота не виновата...

Задохнулся — и на русский  
перевел в слезах от счастья  
вашу негу, ваши сласти —  
без усушки и утруски!

Вашу гордость и ранимость,  
вашу нежность и высоту,  
вашу страсть и вашу строгость —  
мне была такая милость!

Я глядел во глубь колодца  
и еще не знаю ныне:  
может, веточка, привьется  
на родимой древесине.

Дело счастья — дело божье,  
не увижу, не услышу...  
Холоднее, выше, выше  
от прекрасного подножья —

круг — небесная воронка  
свода тесного — ужели?..  
Ниже-ниже, еле-еле —  
мелкий жемчуг жаворонка.

И нанижет, и рассыплет,  
канет в глубину пространства.  
Кто-то может — кто-то выпьет  
эту чашу постоянства.

\* \* \*

В снежном поле, в черной бане  
не бывали мы с тобою,  
золотое, ледяное  
не допили «тибаани».

Нам с тобою врозь без вести  
пропадать судьба судила —  
есть одно такое диво —  
доберемся врозь и вместе

до ступеней Зедазени,  
где идет небесный берег,  
до чудесного спасенья  
при слезах столиц обеих.

\*\*\*

В полдень белый  
невозбранно  
вдоль по улочке Кашена  
я взбираюсь от Майдана —  
так нетвердо и душевно.

Стороне стою на правой  
и трезвею, и — ни с места:  
черноглазое семейство,  
через крышу — ствол корявый.

Через пол и через крышу —  
как теснились, как нуждались,  
это я прекрасно вижу.  
Не срубили — догадались.

Я — душа — переселенец,  
помнящий земные сроки,

вижу снова, что младенец  
обнимает ствол широкий.

А пока стою на правой,  
на меня глядит как бука  
некто сотканный из звука,  
бородатый и лукавый:

— Дерево земли прекрасной  
и дитя — благословенны! —  
несловесный, полногласный  
чистый трепет сокровенный...

И пошел-побрел слоновьей  
валкой поступью своею —  
за последнею любовью,  
за последнею — за нею...



Я знаю без искусства,  
что жизнь моя сбылась  
и от избытка чувства  
со смертью обнялась.

Не рано и не поздно —  
посередине лет —  
и солнечно, и звездно,  
и просто: свет и свет.



Слеза восковая и пыльный веночек,  
цветные и жалостные муляжи.  
И сосны и своды готической ночи —  
то было однажды. Когда же? Скажи.

То место высокое и непростое  
как тигр возлежало на плоском боку,



и роща стареющего древостоя  
сходила в ущелье — в котором веку?

В округе жила босоногая дура,  
довольная тем, что не любит земли,  
с утра по дороге бродила понуро  
и выла: мзе хар габрцкинебули!<sup>1</sup>

И было все это, о нет, не впервые:  
то поле — как пламя, и горы, и ты  
клонила колени свои восковые,  
срывала, к лицу подносила цветы...

## **ДВЕ СЕСТРЫ**

### *Баллада*

В сосновой роще нет подлеска,  
в роду прекрасном нет детей.  
Ты вздрогнул от сухого треска,  
как будто ждал дурных вестей.

Поляна по-над самой кручей  
лежит, пылая и кренясь.  
С обрыва там — несчастный случай —  
упал когда-то старый князь.

Жена достойно и жестоко  
перегорела во вдовстве,  
и доживают одиноко  
две дочери — старушки две.

Тропинка в поле; плиты храма,  
где камень черн и ноздреват,  
как будто тут дохнула драма...  
Но я ошибся, виноват.

Здесь высоко — и близость неба  
заметна в бледности лица,  
и очистительная треба  
здесь совершится до конца.

---

<sup>1</sup> Ты сияющее солнце! (Груз.)

А драмы нет — как нет потомства,  
житейской смуты и греха,  
как не могло быть вероломства  
исчезнувшего жениха.

Другой убит, и без сомненья,  
но был едва ли женихом —  
давным-давно, еще в именье  
сюда заезживал верхом.

И не было причин и следствий,  
где высшей волей обошлись.  
Воспоминания о детстве  
святую наполняют жизнь.

И в легкий быт вошло преданье,  
где высоту хранит рельеф  
и тайна пребывает втайне  
покоя ради старых дев.

Они рисуют акварели,  
грамматику преподают.  
Как радостно они старели,  
как умирают и цветут!

А на поляне наклоненной  
одну я вижу поутру,  
и шалевый платок зеленый  
над нею рвется на ветру.

Она стоит, раскинув руки, —  
на ветер налегла слегка —  
в глубокой каменной излучке  
ревет и пенится река.

Не вижу смерти умиленной  
и благодати неживой —  
но взгляд — слепой, испеленный  
и профиль птицы кочевой!

## ЗА ЗВУКОМ

Что значит счастье? Ничего я  
от будущего не хочу.  
Я обнимаю все живое  
и жизнью за него плачу.

Последняя — по Волге — льдина  
в прозрачном сумраке весны.  
Ты погляди: душа едина  
у черноты и белизны.

И в этой нестеровской тиши,  
в апрельском тонком забытьи  
промолвили: сим победиши —  
уста мои —

и я за звуком помянулся...



Я с тобою буду кроток —  
на тебя ли мне пенять,  
оттого что самородок  
невозможно разменять?

Ты почувствуешь тем боле,  
как тяжел он и коряв,  
где-нибудь на вольной воле  
самородок потеряв.

Сердце охнет и зайдетя,  
станет больно и темно...  
Был бы цел — лежит — найдется,  
кто найдет — не все ль равно?

●

Утрудился, занемог  
ваш неистовый Ван Гог.

Желтых нет и синих лезвий —  
только свет пустой и трезвый.

Только клонится к земле  
жница вещего Милле.

И былая ваша правда  
поувяла, поодрябла.

И, пожалуй, не с руки  
мне спускаться в рудники,

озираться в штольнях мрачных  
парой глаз цветных и зрячих,

оказаться без помех  
в Боринаже ниже всех.

И покинув подземелья,  
слезы вытирать и бельма —

или заново начать?  
Или нет? Не знаю... Глядь...

●

Если спросят на суде:  
— Ты ли грешен?  
— Я, — отвечу.  
— И кого, когда и где  
ты обидел, человеке?

Поведу тогда рассказ  
обо всех, кого хоть раз,  
хоть нечаянно, невольно  
я обидел, сделал больно.

Так пройдет тяжелый час.  
Пред-седатель очи скосит  
на божественный совет:  
— Был ты счастлив или нет? —  
так же строго меня спросит.

— Был, скажу, и есмь, отвечу,  
буду жив, пока люблю...  
И о том же — той же речью  
страшных судий удивлю.

И один тогда, насупясь,  
— Счастлив, скажет, хоть речист.  
И какой-нибудь Анубис,  
как какой-нибудь штангист,  
вынесет над головою  
коромысло роковое,  
сердце грешное живое  
на две доли разорвет...  
Зло с добром шакал раз-весит  
чаша добрая плывет —  
помышленья и дела —  
чаша злая поплыла...  
Больше ничего не лезет,  
ибо жизнь моя тесна.

Сорок зим уравновесит  
сорок первая весна!



Я вышел из унылой гари  
на место свежее, где тек  
во льду и хвое — светлокарий  
и темнокарий ручеек.

Блестело донце золотое,  
весна запаздывала. Я  
напился зимнего настоя,  
сказал, что я тебя не стою,  
и поглядел в глаза ручья.

Еловый бор неколебимо  
стоял и слушал — и одно  
я повторял: мне — все — любимо,  
мне — все — любимо — все — равно

любимо... Благорастворенье —  
проклятье верное мое...  
И в чашу вновь вошел я тенью  
и светом вышел из нее.



За острой желтизною дрока  
дороги белой не видать.  
Когда осыпалось барокко,  
тогда открылась благодать.  
Тропа моя ушла к бурьяну,  
к боярышнику и к стене —  
и Галактиону, к Тициану,  
ко всей неведомой родне.  
Еще рукою суеверной  
ветвь ломаную отведу,  
еще увижу свет безмерный...  
К стене щербатой подойду  
и повернусь — и что-то щелкнет,  
как на рассвете первый дрозд,  
и перед тем, как все умолкнет,  
вытягиваюсь в полный рост.



Все плоскогорье — миг единый —  
как передернуло его  
подобно шкуре лошадиной.  
Переглянулись — ничего.  
Глядим — и пошатнулся снова  
зелено-серый Дагестан.

Его свободная основа  
зашевелилась где-то там.  
Тропа под нами натянулась,  
скала над нами напряглась.  
Отроковица не проснулась,  
а только потянулась всласть.  
Скала черна и ноздревата —  
но вспылала добела...  
Ни в чем была не виновата  
несчастливая Махачкала.

МЗИА

*Баллада*

*Памяти Гурама Рчеулишвили*

Одни шатильоны ушли, а другие уснули —  
хевсуры легли каменеть в каменистую пашню —  
лишь тень Батареки, бессмертного Чинчараули,  
в селенье спускается с гор и скрывается в башню.

Террасы и башни под снегом — все пусто и прочно,  
и времени вольного некуда деть привиденьям.  
В покинутый дом поднимается он еженощно,  
влекомый все той же надеждой, измученный бденьем.

И так же, как некогда было и будет вовеки, —  
пока он восходит и медлит, считая ступени,  
считает шаги незабвенная дочь Батареки:  
стихает, но тихое не прерывается пенье.

Шаги поднимаются — это мотив ожидания.  
Тринадцатилетнюю Мзию ничто не заботит:  
прекрасные звуки на свете все знаю заранее...  
Отец мой восходит, отец — мое солнце — восходит...

Не пил Батареки в ту осень, охотился худо  
и кровною местию сердце свое не утешил.  
А дочка поет как всегда — навсегда — это чудо  
как будто услышал впервые — вошел и опешил.

Уступы родного селенья, небес очертанья,  
туманные зимние линии угля и мела  
таинственно преобразуются в нежной гортани.  
Дышала— и пела, молчала и слушала — пела...

Зачем ты поешь? О родное дитя, совершенство!  
Не это ли, господи, воля твоя в человеке?  
Он вынесет муки — но он не выносит блаженства.  
Не вынес блаженства суровый хевсур Батареки.

Рука поднялась и ударила... Все это было.  
А вечером легкое тело он вынул из петли  
и сгинул в горах — но его не держала могила,  
и тень на снегу появлялась, темнея и медля.

Свetaет, свetaет — и он покидает Шатели,  
и смотрит, и смотрит — и светится что-то в проеме —  
стоит замирая—и кажется—слышится—или  
и вправду селенье покинули все шатильони?

#### ДЖВАРИ

Я вижу, как течет песчаник,  
от крепости своей устав,  
где тот мятежник и печальник  
суровый выполнял устав.

Я поднимаюсь по ступеням  
и в клетке каменной стою,  
объятый холодом, терпеньем  
и переживший жизнь мою.

Закопчены глухие ниши.  
Здесь перед образом не зря  
склонялся гибкий мальчик ниже  
всей братии монастыря...

Он не хотел, чтоб город грешный  
его молитвой был храним.  
За наш визит — пустой, поспешный —  
мне как-то совестно пред ним.



Сидит на выступе высоком,  
оцепенев при свете дня,  
моя сова — и водит оком  
и слышит теплого меня.

И что я — в темном и убогом  
воображении ее?  
Я только слово перед богом:  
спаси и сохрани ее.

### МАТЬ ЭТИХ МЕСТ

В который раз сошла трава?  
Который век? Сочти и сведай.  
Но здесь была всегда жива  
праматерь места — адгилис дэда.

Все бьется ключ — хоть весь овраг  
завален хламом процветанья —  
и мать — хоть ты себе же враг —  
тебя хранит давно и тайно.

Гляди, как дерево стоит —  
как будто предка повторило!  
Праматерь знает и таит,  
что минуло и сотворило

текущий день, и все дела,  
и нас с тобой, детей гордыни,  
что разоряла мир дотла  
и не насытилась доныне.

...Встает разрушенный тотем,  
встает базилика, часовня,  
окрестный лес — встает затем,  
чтоб потрясен ты был спросонья!

Воспламенился пепел книг,  
чтобы из пламени исторглась  
сожженная до «Шушаник»  
иберов истинная гордость!

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПЕРЕВОДЫ ИЗ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

#### Шота Нишнианидзе

●	Еще дитя...	5	
●	Мы, коренные жители вечности	6	
●	Чуть слышен один листопад...	7	
●	Юбиляр	7	
●	Бессмысленные перестарки..	8	
●	Красные гвоздики	8	
●	Гибли вы...	9	
●	Сачидао	10	
●	Зеленый холм перед горой...	11	
●	Всезрящий бог без глаз остался...	12	

#### Стихи, собранные Иосифом Гришашвили

Из «Литературной богемы старого Тбилиси» 14

●	На угольях, на золе...	16	
●	Прощай, Арчил...	17	
●	Чего Тбилиси не видал?..	17	
●	Мой муж — хороший глупый муж...	18	
●	Где теперь блаженный Эшна...	19	
●	Перекупщики с товаром...	20	
●	Я веселье рассыпаю...	20	
●	Нет, ты только посмотри...	21	
●	Если предка колыбель...	21	
●	Я твой чернец...	22	
●	Что с тобой, Изтим бедняга?..	22	
●	Эдема светлого пчела..	23	
●	Глаза твои — синее неба...	23	
●	Не печалься, Гурджи...	23	
●	Этот стих неисчерпаем...	24	
●	Друзья мои, ваш Изтим...	24	
●	Я дома — я живой!..	24	
●	Среди зимы и лета...	25	
●	Кум и сват...	26	
●	Что с тобой...	26	
●	Какие дни, какие числа!..	27	
●	Остерегайся пышности распутной...	27	
●	Скончался знатный ростовщик...	27	

●	Пусть сойдутся все ашуги...	28
●	Соль не скиснет...	29
●	Может быть, тебя в столицу...	29
●	Кому время, кому век...	29
●	Ты обделал все толково...	30
●	Обитель дедов и отцов...	30
●	Господи, зачем, скажи...	31

### Алио Мирцхулава

	Две силы	32
●	Свет зыбкий...	32
	Мора	32
	Сельская невеста	33
	Летучая звезда	33
	Мельница	34
	Упал дуб	34
	Поэт и эпоха	35
	Гамлет, ты слышишь?	35
	Превыше всего	36
	Тбилиси утром	37
	Идея и каприз	37
	Песня	38
●	Вот и стихи сочтены...	38

### Бидзина Миндадзе

	Заяц на дороге	39
●	Судьба, я тебя потешу...	39
	Это дело	40

### Заур Болквадзе

	Картина	42
	Мы еще плячем	42
	Голос отца, погибшего на войне	42

### Михаил Квливидзе

	Новогодняя баллада	43
	Гамлету	44

● Что это?..	44
Маяский ливень	45

### Лия Стура

Флоренция	46
Павлин	47

### Карло Каладзе

Зульфигар	49
Огнеупорна земля, Кетеван!	52
Хлопну по плечу Мераба	54

### Отар Челидзе

Письмо с фронта	56
Арсенал	56
Пропавшее число	59
Ева	60
Разлив у Гударехи	61
Лела (баллада)	62
Звук базара в лазури	63
Храм Кумурдо	64
Борису Пастернаку	65
Мое магнитное поле (поэма)	68

### Отар Чиладзе

Белое поле	111
Целый год	112
Тень	112
● Помни...	113
● Светоносные сумерки...	114
Три глиняных таблицы	114

### Галактион Табидзе

● Недостижимостью святою...	127
Цамеба	127

Воля	128	
Эдгар—третий	128	
● Он разорвал кольцо поруки...		129
Осеннее утро	129	
● Тот нежный юноша-мечтатель...		130
Повторение	131	
Тост за тебя	132	
Продолжение	132	
Лакме	133	
Не жалуйся на время	134	
В тени Мтацминды	135	
Вымпел поэзии	135	
Офорт	136	
Мировые бури	137	
Несколько дней в Петрограде		137
К свободе	140	
На площади	141	
Пиримзе	142	
Довин-довли	143	
● Луна чиста до белого каленья...		144
● Вино туманно-голубое...		145
Молитвы ради	145	
Тбилиси	146	
Элегия	148	
Родина черного Люцифера		148
Да будет ветер!	149	
● Был конец октября...		149
Поля	151	
О бытие, ликуй и длись!		151
● Неба не видели...		152
Город под водой	153	
Он запер дверь	155	
Волнуются	156	
За что?	156	
Колелбется арфа		157
Кукла	157	
Чаша пламени	158	
Озеро в горах	159	
Дневниковая запись	159	
Надпись на книге «Манон Леско»		160
Исключение	161	
Пойдем со мною	162	
● И поблекла и позолотела...		163
Весна моя	164	
● Тень каштана скользит по стеклу...		165

## Стихи

● Сквозь дождь и дерево нагое...	166
● Море, труженик идеи...	166
● По волнам бухты скачет скутер...	167
Отрок	167
● Ба-тумм!..	168
● Ты погляди, как ветви ели...	168
● Дождем в предгорьях падают минуты...	169
● Вижу: давно идете...	169
В горах	170
● Друзья мои, вы есть, вы были...	170
● Здесь переждем-перейдем...	171
Галактион читает	172
● В скалу врезается асфальт	172
● Фронтоны весом в тыщу тонн...	173
● Одна черешенка стоит...	174
● О чем ты думал?..	174
Семь лет	175
● Мальчишеский голос чистейший...	176
На поле красных маков	176
Твое горе	177
● Были цветы и колосья...	178
● Это что же?..	178
● Энциклопедия всей любви...	179
● Заплачет ни о ком...	179
● Родные! Я исчез...	180
● Пошёл, пошёл — по тропам...	180
● В дёбрях крупноблочного квартала...	181
Пиромани	181
● Блаженная страна...	182
● Каким-то мрачным аппетитом...	183
● Норпитовская духота...	183
● Сиди и напевай...	184
Нарикала	184
● Нагая тишина безветрия...	185
Твоею славой	185
Не пожалею	187
● Петухи поют вторые...	187
● Мне написать страницу...	187
Светицховели	188
● Он молодую мне представил...	188
Октябрь	189
● Идти не можешь?..	190
● Мне целиться в летящий день...	190
Два стихотворения	
● Глядит как лорд британский...	190
Слово милости	191
Кольцо	193
Батюшков	193

●	Ветреной ночью платан шелестит...	194
●	Сердце, без меры упорное...	194
	Вечер. Озеро	195
	Время твое	195
●	Я знаю без искусства...	198
●	Слеза восковая и пыльный веночек...	198
	Две сестры (баллада)	199
	За звуком	201
●	Я с тобою буду кроток...	201
●	Утрудился, занемог...	202
●	Если спросят на суде...	202
●	Я вышел из унылой гари...	203
●	За острой желтизною дрока...	204
●	Все плоскогорье — миг единый...	204
	Мэиа (баллада)	205
	Джвари	206
	Мать этих мест	207

**ЛЕОНОВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ**  
**ВРЕМЯ ТВОЕ**

Редактор *А. Перим*  
Художник *Р. Кондахсазов*  
Художественный редактор *Д. Занаишвили*  
Технический редактор *А. Якимова*  
Корректор *Э. Урушадзе*

Сдано в набор 03.07.1984 г.  
Подписано в печать 03.06.1985 г.  
УЭ 07899  
Формат 60×84<sup>1/16</sup>  
Бум. типогр. № 2  
Гарнитура журн. рубленая  
Печать высокая  
Усл. печ. л. 12,56  
Учетно-издат. л. 10,47  
Усл. краскооттиски 12,79  
Тираж 3000 экз.  
Заказ № 129  
Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Мерани»  
380008 Тбилиси, пр. Руставели, 42  
Отпечатано в Кутаисском ППО им. Г. Табидзе  
Госкомиздата СССР, 384018 пр. И. Чавчавадзе, 33,  
с матриц типографии издательства «Таврида»  
Крымского ОК КП Украины, 333700 Симферополь,  
ул. Генерала Васильева, 44.

Заказ № 7710



მეცნიერ ნობელის ქმ ლეონოვიჩი,  
დრო შენი  
(რუსულ ენაზე)

1 р. 40 коп.

